

1. ПРИГОВОР

Чудесным весенним утром молодой коммерсант Георг Бендемман сидел в своем кабинете с окнами на набережную, на первом этаже одного из многочисленных невысоких и недолговечных домов, отличимых разве что своей высотой и окраской. Он только что закончил письмо к живущему за границей другу юности, с нарочитой медлительностью запечатал его и, опершись о письменный стол, стал глядеть в окно на реку, мост и бледно-зеленые пригорки на том берегу.

Он думал о том, как много лет назад этот его друг, недовольный ходом своих дел на родине, форменным образом сбежал в Россию. Теперь он вел в Петербурге торговое дело, которое поначалу шло очень хорошо, но потом как будто застопорилось, на что его друг жаловался во время своих все более редких приездов. Так и трудился он без пользы вдали от дома, и под бородой на иностранный манер проступало хорошо знакомое с детских лет лицо, желтизна которого все более наводила на мысль о развивающейся болезни. По его рассказам, он не поддерживал тесных отношений с тамошней колонией своих соотечественников; в то же время, общение его с местным обществом не складывалось, и он окончательно обрек себя на холостяцкую жизнь.

Что можно написать такому человеку, который явно сбился с пути, и которому можно посочувствовать и ничем нельзя помочь? Возможно, следовало ему посоветовать вернуться домой, обустроить свою жизнь здесь, возобновить старые дружеские связи, к чему не было никаких препятствий, и в остальном положиться на помощь друзей. Но тем самым ему бы неизбежно дали понять, и чем заботливее, тем острее, что все его старания пропали даром, и что от них следовало, в конце концов, отказаться, вернуться домой и вечно чувствовать на себе пристальные взгляды, какими провожают вернувшихся неудачников; что только его друзья что-либо смыслят в жизни, а он, взрослый ребенок, должен просто следовать советам оставшихся дома и преуспевающих друзей. И можно ли быть уверенным в том, что все хлопоты, которые пришлось бы на него навлечь, приведут к какой-либо цели? Наверное, его вообще не удастся уговорить вернуться домой, ? он же сам говорил, что уже не чувствует отношений на родине. И тогда он, несмотря ни на что, останется у себя за границей, с горечью от подобных советов и еще более отдалившись от друзей. Если же он последует советам и, не по злему умыслу, конечно, а по стечению обстоятельств, окажется здесь жизнью подавлен, не сможет найти себя ни среди друзей, ни без них, будет стыдиться своего положения и уже по-настоящему останется без родины и друзей, то не лучше ли ему остаться за границей как есть? Можно ли при таких обстоятельствах рассчитывать на то, что здесь он поправит свои дела?

А потому, если оставалось желание поддерживать переписку, нельзя ему было описывать настоящие новости, даже такие, о которых можно было, не задумываясь, рассказать и самым дальним знакомым. Друг не приезжал уже три года под туманным предлогом нестабильной политической ситуации в России, которая не позволяла даже краткой отлучки мелкого коммерсанта, в то время, как сотни тысяч русских преспокойно путешествуют по всему миру. В жизни же Георга многое изменилось за эти три года. О смерти матери года два назад, с момента которой Георг вел совместное хозяйство со своим престарелым отцом, друг еще, конечно, узнал и выразил в письме свои соболезнования с некоторой сухостью, объяснимой только тем, что пребывание за границей не позволяло осознать горечь подобной утраты. С того времени Георг с большой решительностью взялся за свое торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возможно, что при жизни матери отец, в делах желавший считаться единственно со своим собственным мнением, сильно ограничивал Георга в его действиях; возможно, что с ее смертью он больше замкнулся в себе, хотя по-прежнему продолжал участвовать в деле; возможно, и даже весьма вероятно, главную роль сыграло счастливое стечение обстоятельств; так или иначе, за эти два года дело неожиданно разрослось, число работников пришлось удвоить, оборот вырос в пять раз, и дальнейший рост не вызывал сомнений.

Друг же об этих изменениях не имел никакого представления. Ранее, в последний раз, кажется, в письме с соболезнованиями, он пытался уговорить Георга переехать в Россию и пространно описывал возможности, что представлял для Георга Петербург при его роде занятий. Суммы были незначительны на фоне той прибыли, которую последнее время приносило Георгу его дело. У Георга вовсе не было желания описывать другу свои коммерческие успехи; да и сделал он это с таким запозданием, вид это имело бы в высшей степени странный. А потому Георг ограничился лишь описанием незначительных происшествий, которые беспорядочно приходят в голову во время спокойных воскресных размышлений. Единственное, чего ему хотелось, ? это не разрушить то представление о родном городе, которое, скорее всего, создалось у друга за время долгой отлучки, и которое давало ему определенное спокойствие. И так получилось, что Георг описал своему другу помолвку ничем не примечательного человека со столь же непримечательной девушкой в трех написанных в весьма разное время письмах, так что, в конце концов, друг заинтересовался этим странным событием, что никак в намерения Георга не входило.

Георг гораздо охотнее писал о подобных вещах, чем о том, что он сам месяц назад обручился с фройляйн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельного семейства. Он довольно часто говорил со своей невестой об этом друге и их странных эпистолярных отношениях. "Тогда он не приедет на нашу свадьбу", говорила она, "а я очень даже вправе познакомиться со всеми твоими друзьями". "Я не хочу его тревожить", отвечал Георг. "Пойми меня правильно ? он приехал бы, по крайней мере, я в это верю, но он бы чувствовал себя принужденно и ущербно, вероятно, завидовал бы мне, и явно недовольный и неспособный от этого недовольства отделаться, вернулся бы к себе один. Один ? понимаешь, что это значит"? "Ну, а не может он узнать о нашей свадьбе откуда-нибудь еще"? "Я, конечно, не могу этому помешать, но при его образе жизни это маловероятно". "Если у тебя, Георг, такие друзья, то лучше бы тебе и вовсе не жениться". "Тут мы, конечно, оба виноваты, но у меня сейчас что-то нет желания что-либо с этим делать". И когда она, прерывисто дыша под его поцелуями, успела выговорить: "А все ж таки мне от этого обидно", он про себя решил, что не будет никакого вреда в том, чтобы обо всем написать другу. "Пускай принимает меня таким, какой я есть", сказал он себе. "Не перекраивать же себя для дружбы с ним лучше, чем я есть".

И в том длинном письме, что было написано с утра в воскресенье, он сообщил своему другу о произошедшей помолвке в следующих выражениях: "Наилучшую же новость я приберег напоследок. Я обручился с фройляйн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельного семейства, что поселилось в наших краях, когда ты уже давно уехал, так что вряд ли ты ее можешь знать. Поводов написать тебе подробнее о моей невесте еще будет предостаточно; сегодня же хочу тебя обрадовать тем, что я совершенно счастлив, и что изменилось в наших взаимоотношениях единственно то, что отныне ты во мне вместо обыкновенного друга обрел друга счастливого.

Помимо того, в моей невесте, которая шлет тебе сердечный привет и вскорости напишет тебе сама, ты найдешь искреннего друга, что вовсе для холостяка немаловажно. Я знаю, что от визита к нам тебя удерживает множество обстоятельств ? так не послужит ли как раз моя свадьба поводом к тому, чтобы отбросить все препятствия в сторону? Но как бы там ни было, поступай безо всякой оглядки на меня, а только по своему разумению”.

Георг на какое-то время застыл за письменным столом, повернув голову к окну и держа в руке письмо. На приветствие проходившего по улице знакомого он ответил едва заметной отсутствующей улыбкой.

В конце концов, он засунул письмо в карман, вышел из кабинета, и сквозь узкий коридор прошел в комнату отца, в которой не бывал уже несколько месяцев. К этому, в сущности, не было никакой необходимости, поскольку он постоянно виделся с отцом в конторе, обедали они вместе в трактире, а по вечерам, хоть каждый и выбирал занятие на свой вкус, они обыкновенно оказывались, каждый со своей газетой, в общей гостиной. Единственное, что нарушало этот порядок, были визиты Георга к друзьям или, в последнее время, к своей невесте.

Георга поразило, сколь темно было у отца в комнате в такой солнечный день. Какую все-таки тень отбрасывали высокие стены, окружавшие узкий дворик! Отец сидел у окна в углу, всячески украшенном памятными вещами покойной матери, и читал газету, глядя на нее искоса и пытаясь тем самым приспособить свои слабеющие глаза. Отодвинутый на край стола завтрак казался почти нетронутым.

— А, Георг, ? произнес отец и двинулся ему навстречу. Его тяжелый шлафрок распахивался при ходьбе, полы развевались; “мой отец все еще гигант”, подумал про себя Георг.

— Здесь же невыносимо темно, ? сказал он вслух.

— Темно здесь и вправду, ? ответил отец.

— Окно ты тоже держишь закрытым?

— Мне так лучше.

— На улице ведь очень тепло, ? сказал Георг, как бы продолжая свою исходную мысль, и сел на стул.

Отец собрал посуду от завтрака и переставил ее на сундук.

— Я, собственно, хотел тебе только сказать, ? продолжал Георг, рассеянно следя за движениями старика, ? что я как раз сообщил в Петербург о своей помолвке.

Он приподнял письмо в кармане, так что стал виден его край, и опустил его обратно.

— Отчего в Петербург? ? спросил отец.

— Как же, моему другу, ? ответил Георг и попытался встретиться с отцом взглядом. “В конторе-то он совсем другой”, подумал Георг, “не то что здесь: развалился и руки скрестил.”

— Да, твоему другу, ? подчеркнуто произнес отец.

— Ты же знаешь, отец, что я сначала думал умолчать ему о моей помолвке. Чтобы его не расстраивать, только поэтому. Ты же знаешь, он сложный человек. И я сказал себе ? он же может узнать о помолвке не от меня, хоть при его образе жизни это и маловероятно ? помешать я этому не могу, но от меня самого он об этом узнать никак не должен.

— Ну, а теперь ты стал иного об этом мнения? ? спросил отец, положил при этом газету на подоконник, поверх газеты очки и прикрыл их ладонью.

— Да, теперь я иного мнения. Если он мне хороший друг, сказал я себе, то моя счастливая помолвка должна и для него быть радостью. Потому я немедля ему об этом написал. Но перед тем, как бросить письмо, я все же хотел тебе об этом сказать.

— Георг, ? произнес отец и широко раздвинул беззубый рот, ? послушай меня! Ты пришел ко мне, чтобы посоветоваться об этом деле. Это тебе, без сомненья, делает честь. Но это ничто, это ужаснее, чем ничто, если ты мне не скажешь всей правды. Я не хочу сейчас ворошить то, что не имеет к этому отношения. Со смерти нашей любимой матушки стали происходить всякие некрасивые вещи. Думаю, придет еще время к этому вернуться, и скорее, чем нам кажется. Много в делах от меня ускользает, ? не то, чтобы от меня это скрывали, по крайней мере, мне не хочется верить в то, что от меня это скрывают; сил у меня уже меньше, память слабеет, и меня уже не хватает на то, чтобы следить за всем происходящим. Во-первых, это естественный ход вещей, а, во-вторых, смерть нашей матушки сразила меня сильнее, чем тебя. Но поскольку уж мы заговорили об этом письме, прошу тебя, Георг, не обманывай меня. Это сущий пустяк, что гроша ломаного не стоит, так не обманывай же меня. У тебя действительно есть этот друг в Петербурге?

Георг в смущении поднялся.

— Бог с ними, с моими друзьями. Тысяча друзей не заменит мне моего отца. Знаешь, что я думаю? Ты недостаточно о себе заботишься. Но годы берут свое. В магазине ты для меня незаменим, ты ведь это прекрасно знаешь, но если магазин станет вредить твоему здоровью, я его завтра же вовсе закрою. Так нельзя. Мы должны совершенно иначе обустроить твою жизнь. Ты сидишь здесь в темноте, когда в гостиной у тебя был бы прекрасный свет. Ты отщипываешь кусочек за завтраком, вместо того, чтобы как следует подкрепиться. Ты сидишь тут с закрытыми окнами, когда свежий воздух так был бы тебе полезен. Нет, отец! Я приглашу врача и мы будем следовать его предписаниям. Мы поменяемся комнатами ? ты переедешь в светлую комнату, а я сюда. Для тебя ничего не изменится, все твои

вещи передат с тобой. Но это все во временем, а сейчас сейчас приляг ненадолго, тебе непременно нужен покой. Пойдем, я помогу тебе переодеться, ? у меня получится, увидишь. А если хочешь сейчас же лечь в светлой комнате, то полежи пока у меня на кровати. Так было бы, кстати, лучше всего.

Георг стоял почти вплотную к отцу; тот сидел, уронив седую растрепанную голову на грудь.

— Георг, ? произнес отец, не двигаясь. Георг тотчас же опустился возле отца на колени и увидел, что с усталого лица на него, чуть искоса, смотрели огромные зрачки.

— У тебя нет никакого друга в Петербурге. Ты всегда любил сыграть с кем-нибудь шутку, и вот даже меня стороной не обошел. И откуда бы у тебя там взялся друг? Уж никак не поверю.

— Отец, ну постарайся вспомнить, ? сказал Георг, приподняв отца с кресла и снимая с него халат, пока тот едва держался перед ним на ногах. ? Уже скоро три года тому, как мой друг не был у нас в гостях. Насколько я помню, ты его особо не жаловал. Не меньше двух раз я скрыл от тебя, что он сидел у меня в комнате. Я вполне мог бы понять твою к нему неприязнь, у моего друга есть свои странности. Но как-то раз вы все же вели очень приятную беседу. Я был еще так горд тем, что ты слушаешь его, киваешь и задаешь вопросы. Если ты подумаешь, ты обязательно вспомнишь. В тот раз он рассказывал невероятные истории о русской революции. Как он, к примеру, будучи по делам в Киеве, во время мятежа видел на балконе священника, что вырезал у себя на ладони кровавый крест и вызывал к толпе. Ты еще сам любил пересказывать эту историю.

За время разговора Георгу удалось усадить отца в кресло и снять с него надетые поверх подштанников панталоны и носки. При виде белья не первой свежести он упрекнул себя за плохую заботу об отце. Следить за сменой отцовского белья, несомненно, входило в его обязанности. Прямого разговора о будущем отца между ним и его невестой еще не было, и их молчаливый уговор предполагал, что отец останется в прежней квартире один. Теперь же он с полной уверенностью решил забрать отца в свою будущую семью. При ближайшем рассмотрении могло даже возникнуть чувство, что уход, ожидавший отца на новом месте, мог оказаться уже не ко времени.

Он на руках отнес отца в постель. Его охватил ужас когда, подходя к постели, он заметил, что отец играет с цепочкой его часов. Он не сразу смог уложить отца в постель, так крепко тот держался за цепочку.

Но как только он оказался в постели, все как бы успокоилось. Он сам укрылся и высоко натянул на себя одеяло. Он невраждебно глядел на Георга.

— Ты ведь припоминаешь о нем, не правда ли? ? спросил Георг и одобряюще кивнул ему.

— Я хорошо укрыт? ? спросил отец, как будто не мог разглядеть, хорошо ли укрыты ноги.

— Так тебе будет хорошо, ? сказал Георг и получше подоткнул одеяло.

— Я хорошо укрыт? ? опять спросил отец с каким-то странным интересом.

— Только не волнуйся, ты хорошо укрыт.

— Нет! ? выпалил на это отец, отшвырнул одеяло с такой силой, что оно на мгновение раскрылось в полете, и встал на кровати в полный рост. Лишь одной рукой он слегка придерживался за плафон.

— Знаю, укрыть меня хочешь, яблочко мое, но я еще пока не укрыт! И хоть бы это были мои последние силы ? на твою долю с лихвой хватит. Знаю я твоего друга, ? такой сын был бы мне по душе. Потому-то ты и лгал мне все эти годы, отчего ж еще? Думаешь, у меня сердце за него не болело? Оттого-то запираешься у себя в кабинете ? не беспокоить, хозяин занят, ? чтоб только сочинять свое лживые письмишки в Россию! Но отца-то не учить, как сына насквозь видеть. Как вообразил себе, что под себя подмял, так подмял, что можешь усесться на него своей задницей, а он и не пошевелиться, тут-то мой сыночек задумал жениться!

Георг наблюдал ужасную картину, которую являл собой отец. Образ петербургского друга, внезапно столь хорошо признанного отцом, вызвал у него ни на что не похожее щемящее чувство. Он видел его, затерянного в далекой России. Он видел его в дверях пустого, разграбленного магазина. Сейчас он стоял среди обломков полок, растерзанных товаров, рушащейся арматуры. Отчего пришлось ему так далеко уехать!

— Так смотри же на меня! ? вскрикнул отец, и Георг почти машинально побежал к кровати, пытаясь ухватить все на лету, но замер на полпути.

— Оттого, что она юбки задрала, ? затащил отец, ? оттого, что эта мерзкая коза вот так юбки задрала, ? тут он, пытаясь это изобразить, задрал рубаху так высоко, что на ляжке у него показался полученный на войне шрам, ? оттого, что она вот так, и вот так, и вот эдак юбки задрала, ты на нее и бросился, и чтобы ею преспокойно удовлетвориться, ты осквернил память нашей матери, предал друга и отца в постель засунул, чтоб тот не дергался. А тот еще дергается, не видишь?

Теперь он стоял без всякой поддержки и пинал воздух ногами. Проницательность исходила от него лучами.

Георг стоял в углу, как можно дальше от отца. В какой-то момент он твердо решил очень внимательно за всем следить, чтобы какой-нибудь обходной маневр сзади или сверху не застал его врасплох. Теперь это давно забытое решение опять промелькнуло в его мозгу и исчезло, словно кто-то проткнул короткую нитку сквозь игольное ушко.

— Но друг все же не предан! ? кричал отец, подкрепляя свои слова маятникообразными движениями указательного пальца. ? За него здесь был я!

— Комедиант! ? вырвалось у Георга; тут же осознав, что он наделал, с застывшим от ужаса взглядом, он слишком поздно укусил себя за язык, так что тот скрутился от боли.

— Да уж, конечно, я ломал комедию! Комедия! Хорошее слово! Какое еще утешение оставалось старому вдовому отцу? Скажи-ка ? и на мгновение ответа побудь моим живым сыном, ? что мне еще оставалось в моей задней комнате, преследуемому неверными подчиненными, с пронизывающей до костей старостью? А мой сын торжествуя шел по свету, заключал подготовленные мною сделки, кувыркался от радости и красовался перед отцом, как непрístupная честность. Ты думаешь, я б тебя не любил ? я, что тебя породил?

“Сейчас он наклонится”, подумал Георг. “Хоть бы он упал и разбился!”, с шипением пронеслось в его мозгу. Отец наклонился вперед, но не упал. Когда Георг, против его ожидания, не подошел ближе, он опять выпрямился.

— Стой, где стоишь, ты мне не нужен! Думаешь, у тебя хватит сил сюда подойти и торчишь там потому, что тебе так угодно. Ошибаешься! Я все еще намного сильнее. Был бы я один ? пришлось бы мне, наверное, уступить, но мать отдала мне свою силу, и с твоим другом я прекрасно договорился, вся твоя клиентура у меня вот тут, в кармане!

“Так у него и в ночной рубаше карманы”, про себя подумал Георг, и ему показалось, что этим замечанием отца можно было бы смести с лица земли. Он на мгновение подумал об этом, и немедленно все забыл.

— Возьми-ка свою невесту под ручку и покажись мне на глаза! Я ее вон смету, очнуться не успеешь!

Георг скорчил недоверчивую гримасу. Чтобы придать сказанному больше значимости, отец лишь мотнул головой в сторону стоящего в углу Георга.

— Как же ты меня сегодня позабавил, когда пришел спрашивать, писать ли твоему другу о помолвке! Он же все знает, дурачок, он же все знает! Я же написал ему, поскольку ты забыл отобрать у меня перо и бумагу. Потому-то он и не приезжал все эти годы, ему все известно в сто раз лучше, чем тебе самому, твои мятые нечитанные письма у него в левой руке, а мои-то у него в правой, чтоб читать!

От вдохновения, его рука взметнулась над головой.

— Он знает все в тысячу раз лучше! ? кричал он.

— В десять тысяч раз! ? сказал Георг в насмешку, но, еще не успев сорваться с языка, слова зазвучали с убийственной серьезностью.

— Уже много лет я поджидаю, когда ты придешь ко мне с вопросом! Думаешь, меня что-нибудь еще волнует? Может, думаешь, я газеты читаю? На тебе! ? и он швырнул в Георга газетной страницей, которая каким-то образом тоже попала в постель. Старая газета, с уже совершенно неизвестным Георгу названием.

— Долго ж ты думал, пока не созрел! Мать ушла в могилу, не дождалась этого светлого дня, друг погибает в своей России, уже три года тому был до смерти желтый, да и я, сам видишь какой. На это-то у тебя глаз хватает!

— Так ты меня выслеживал! ? воскликнул Георг.

Отец, походя, произнес сочувственно:

— Это ты, по всей видимости, хотел сказать раньше. Теперь это уже не подойдет.

И уже громче:

— Так вот теперь ты знаешь, что есть помимо тебя, а то до сих пор ты только о себе знал. В сущности, ты был невинным ребенком, но в самой своей сущности был ты исчадием ада! А потому знай: я приговариваю тебя к казни водой!

Георг почувствовал, как что-то гонит его из комнаты. Стук, с которым отец рухнул за его спиной на постель, все еще стоял у него в ушах. На лестнице, по ступенькам которой он неслся, как по наклонной плоскости, он сбил с ног служанку, которая как раз собиралась наверх для утренней уборки. “Господи!”, вскрикнула она и закрыла передником лицо, но он уже скрылся. Он выскочил за ворота, его несло через проезжую часть к воде. Он уже крепко схватился за поручни, как голодный за кусок хлеба. Он перепрыгнул на другую сторону, как превосходный гимнаст, каким он в юности был к родительской гордости. Все еще цепко держась слабеющими руками, он разглядел между спицами ограды омнибус, который легко заглушил бы звук его падения, слабо вскрикнул: “Милые родители, я ведь вас всегда любил”, и разжал руки.

В этот момент через мост шел совершенно нескончаемый поток машин.

Перевод А. Махлиной

2. ПРЕВРАЩЕНИЕ

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

“Что со мной случилось?” – подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон – Замза был коммивояжером, – висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода – слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя – привела его и вовсе в грустное настроение. “Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху”, – подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

“Ах ты, господи, – подумал он, – какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!” Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб.

Он соскользнул в прежнее свое положение. “От этого раннего вставания, – подумал он, – можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Другие коммивояжеры живут, как одалиски. Когда я, например, среди дня возвращаюсь в гостиницу, чтобы переписать полученные заказы, эти господа только завтракают. А осмелюсь я вести себя так, мои хозяин выгнал бы меня сразу. Кто знает, впрочем, может быть, это было бы даже очень хорошо для меня. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Странная у него манера – садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подойти вплотную к конторке из-за того, что хозяин туг на ухо. Однако надежда еще не совсем потеряна: как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей – на это уйдет еще лет пять-шесть, – я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять”.

И он взглянул на будильник, который тикал на сундуке. “Боже правый!” – подумал он. Было половина седьмого, и стрелки спокойно двигались дальше, было даже больше половины, без малого уже три четверти. Неужели будильник не звонил? С кровати было видно, что он поставлен правильно, на четыре часа; и он, несомненно, звонил. Но как можно было спокойно спать под этот сотрясающий мебель трезвон? Ну, спал-то он беспокойно, но, видимо, крепко. Однако что делать теперь? Следующий поезд уходит в семь часов; чтобы поспеть на него, он должен отчаянно торопиться, а набор образцов еще не упакован, да и сам он отнюдь не чувствует себя свежим и легким на подъем. И даже поспей он на поезд, хозяйского разноса ему все равно не избежать – ведь рассылный торгового дома дежурил у пятичасового поезда и давно доложил о его, Грегора, опоздании. Рассылный, человек бесхарактерный и неумный, был ставленником хозяина. А что, если сказать больным? Но это было бы крайне неприятно и показалось бы подозрительным, ибо за пятилетнюю свою службу Грегор ни разу еще не болел. Хозяин, конечно, привел бы врача больничной кассы и стал попрекать родителей сыном-лентяем, отводя любые возражения ссылкой на этого врача, по мнению которого все люди на свете совершенно здоровы и только не любят работать. И разве в данном случае он был бы так уж неправ? Если не считать сонливости, действительно странной после такого долгого сна, Грегор и в самом деле чувствовал себя превосходно и был даже чертовски голоден.

Покуда он все это торопливо обдумывал, никак не решаясь покинуть постель, – будильник как раз пробил без четверти семь, – в дверь у его изголовья осторожно постучали.

— Грегор, – услышал он (это была его мать), – уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?

Этот ласковый голос! Грегор испугался, услышав ответные звуки собственного голоса, к которому, хоть это и был, несомненно, прежний его голос, примешивался какой-то подспудный, но упрямый болезненный писк, отчего слова только в первое мгновение звучали отчетливо, а потом искажались отголоском настолько, что нельзя было с уверенностью сказать, не ослышался ли ты. Грегор хотел подробно ответить и все объяснить, но ввиду этих обстоятельств сказал только:

Да, да, спасибо, мама, я уже встаю.

Снаружи, благодаря деревянной двери, повидимому, не заметили, как изменился его голос, потому что после этих слов мать успокоилась и зашаркала прочь. Но короткий этот разговор обратил внимание остальных членов семьи на то, что Грегор вопреки ожиданию все еще дома, и вот уже в одну из боковых дверей стучал отец – слабо, но кулаком.

— Грегор! Грегор! – кричал он. – В чем дело? И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос:

— Грегор! Грегор!

А за другой боковой дверь тихо и жалостно говорила сестра:

— Грегор! Тебе нездоровится? Поторопишься тебе чем-нибудь?

Отвечая всем вместе: “Я уже готов”, – Грегор старался тщательным выговором и длинными паузами между словами лишить свой голос какой бы то ни было необычности. Отец и в самом деле вернулся к своему завтраку, но сестра продолжала шептать:

— Грегор, открой, умоляю тебя.

Однако Грегор и не думал открывать, он благословлял приобретенную в поездках привычку и дома предусмотрительно запирает на ночь все двери.

Он хотел сначала спокойно и без помех встать, одеться и прежде всего позавтракать, а потом уж поразмыслить о дальнейшем, ибо – это ему стало ясно – в постели он ни до чего путного не додумался бы. Ом вспомнил, что уже не раз, лежа в постели, ощущал какую-то легкую, вызванную, возможно, неудобной позой боль, которая, стоило встать, оказывалась чистейшей игрой воображения, и ему было любопытно, как рассеется его сегодняшний морок. Что изменение голоса всего-навсего предвестие профессиональной болезни коммивояжеров – жестокой простуды, в этом он несколько не сомневался.

Сбросить одеяло оказалось просто; достаточно было немного надуть живот, и оно упало само. Но дальше дело шло хуже, главным образом потому, что он был так широк.

Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали беспорядочно двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать. Если он хотел какую-либо ножку согнуть, она первым делом вытягивалась; а если ему наконец удавалось выполнить этой ногой то, что он задумал, то другие тем временем, словно вырвавшись на волю, приходили в самое мучительное волнение. “Только не задерживаться понапрасну в постели”, – сказал себе Грегор.

Сперва он хотел выбраться из постели нижней частью своего туловища, но эта нижняя часть, которой он, кстати, еще не видел, да и не мог представить себе, оказалась малоподвижной; дело шло медленно; а когда Грегор наконец в бешенстве напропалую рванул вперед, он, взяв неверное направление, сильно ударился о прутья кровати, и обжигающая боль убедила его, что нижняя часть туловища у него сейчас, вероятно, самая чувствительная.

Поэтому он попытался выбраться сначала верхней частью туловища и стал осторожно поворачивать голову к краю кровати. Это ему легко удалось, и, несмотря на свою ширину и тяжесть, туловище его в конце концов медленно последовало за головой. Но когда голова, перевалившись наконец за край кровати, повисла, ему стало страшно продвигаться и дальше подобным образом. Ведь если бы он в конце концов упал, то разве что чудом не повредил бы себе голову. А терять сознание именно сейчас он ни в коем случае не должен был; лучше уж было остаться в постели.

Но когда, переведя дух после стольких усилий, он принял прежнее положение, когда он увидел, что его ножки копошатся, пожалуй, еще неистовей, и не сумел внести в этот произвол покой и порядок, он снова сказал себе, что в кровати никак нельзя оставаться и что самое разумное – это рискнуть всем ради малейшей надежды освободить себя от кровати. Одновременно, однако, он не забывал нет-нет да напомнить себе, что от спокойного размышления толку гораздо больше, чем от порывов отчаяния. В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. “Уже семь часов, – сказал он себе, когда снова послышался бой будильника, – уже семь часов, а все еще такой туман”. И несколько мгновений он полежал спокойно, слабо дыша, как будто ждал от полной тишины возвращения действительных и естественных обстоятельств.

Но потом он сказал себе: “Прежде чем пробьет четверть восьмого, я должен во что бы то ни стало окончательно покинуть кровать. Впрочем, к тому времени из конторы уже придут справиться обо мне, ведь контора открывается раньше семи. И он принялся выталкиваться из кровати, раскачивая туловище по всей его длине равномерно. Если бы он упал так с кровати, то, видимо, не повредил бы голову, резко приподняв ее во время падения. Спина же казалась достаточно твердой; при падении на ковер с ней, наверно, ничего не случилось бы. Больше всего беспокоила его мысль о том, что тело его упадет с грохотом и это вызовет за всеми дверями если не ужас, то уж, во всяком случае, тревогу. И все же на это нужно было решиться.

Когда Грегор уже наполовину повис над краем кровати – новый способ походил скорей на игру, чем на утомительную работу, нужно было только рывками раскачиваться, – он подумал, как было бы все просто, если бы ему помогли. Двух сильных людей – он подумал об отце и о прислуге – было бы совершенно достаточно; им пришлось бы только, засунув руки под выпуклую его спину, снять его с кровати, а затем, нагнувшись со своей ношей, подождать, пока он осторожно перевернется на полу, где его ножки получили бы, надо полагать, какой-то смысл. Но даже если бы двери не были заперты, неужели он действительно позвал бы кого-нибудь на помощь? Несмотря на свою беду, он не удержался от улыбки при этой мысли.

Он уже с трудом сохранял равновесие при сильных рывках и уже вот-вот должен был окончательно решиться, когда с парадного донесся звонок. “Это кто-то из фирмы”, – сказал он себе и почти застыл, но зато его ножки заходили еще стремительней. Несколько мгновений все было тихо. “Они не отворяют”, – сказал себе Грегор, отдаваясь какой-то безумной надежде. Но потом, конечно, прислуга, как всегда, твердо прошагала к парадному и открыла. Грегору достаточно было услышать только первое приветственное слово гостя, чтобы тотчас узнать, кто он: это был сам управляющий. И почему Грегору суждено было служить в фирме, где малейший промах вызывал сразу самые тяжкие подозрения? Разве ее служащие были все как один прохвосты, разве среди них не было надежного и преданного человека, который, хоть он и не отдал делу нескольких утренних часов, совсем обезумел от угрызений совести и просто не в состоянии покинуть постель? Неужели недостаточно было послать справиться ученика – если такие расспросы вообще нужны, – неужели непременно должен был прийти сам управляющий и тем самым показать всей ни в чем не повинной семье, что расследование этого подозрительного дела по силам только ему? И больше от волнения, в которое привели его эти мысли, чем понастоящему решившись, Грегор изо всех сил рванул с кровати. Удар был громкий, но не то чтобы оглушительный. Падение несколько смягчил ковер, да и спина оказалась эластичнее, чем предполагал Грегор, поэтому звук получился глухой, не такой уж разительный. Вот только голову он держал недостаточно осторожно и ударил ее; он потерял ее о ковер, досаду на боль.

— Там что-то упало, — сказал управляющий в соседней комнате слева.

Грегор попытался представить себе, не может ли и с управляющим произойти нечто подобное тому, что случилось сегодня с ним, Грегором; ведь вообще-то такой возможности нельзя было отрицать. Но как бы отменяя этот вопрос, управляющий сделал в соседней комнате несколько решительных шагов, сопровождавшихся скрипом его лакированных сапог. Из комнаты справа, стремясь предупредить Грегора, шептала сестра:

— Грегор, пришел управляющий.

— Я знаю, — сказал Грегор тихо; повысиль голос настолько, чтобы его услышала сестра, он не отважился.

— Грегор, — заговорил отец в комнате слева, — к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.

— Доброе утро, господин Замза, — приветливо вставил сам управляющий.

— Ему нездоровится, — сказала мать управляющему, куда отец продолжал говорить у двери. — Поверьте мне, господин управляющий, ему нездоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе, — это выпиливание. За каких-нибудь два-три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий; без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый; и наверняка ему нездоровится, хоть он и отрицал это утром.

— Сейчас я выйду, — медленно и размеренно сказал Грегор, но не шевельнулся, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговоров.

— Другого объяснения, сударыня, у меня и нет, — сказал управляющий. — Будем надеяться, что болезнь его не опасна. Хотя, с другой стороны, должен заметить, что нам, коммерсантам, — то ли к счастью, то ли к несчастью — приходится часто в интересах дела просто превозмогать легкий недуг.

— Значит, господин управляющий может уже войти к тебе? — спросил нетерпеливый отец и снова постучал в дверь.

— Нет, — сказал Грегор. В комнате слева наступила мучительная тишина, в комнате справа зарыдала сестра.

Почему сестра не шла к остальным? Вероятно, она только сейчас встала с постели и еще даже не начала одеваться. А почему она плакала? Потому что он не вставал и не впускал управляющего, потому что он рисковал потерять место и потому что тогда хозяин снова стал бы преследовать родителей старыми требованиями. Но ведь покамест это были напрасные страхи. Грегор был еще здесь и вовсе не собирался покинуть свою семью. Сейчас он, правда, лежал на ковре, а, узнав, в каком он находится состоянии, никто не стал бы требовать от него, чтобы он впустил управляющего. Но не выгонят же так уж сразу Грегора изза этой маленькой невежливости, для которой позднее легко найдется подходящее оправдание! И Грегору казалось, что гораздо разумнее было бы оставить его сейчас в покое, а не докучать ему плачем и уговорами. Но ведь всех угнетала — и это извиняло их поведение — именно неизвестность.

— Господин Замза, — воскликнул управляющий, теперь уж повысив голос, — в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только “да” и “нет”, доставляете своим родителям тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь — упомяну об этом лишь вскользь — от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен, я поражен! Я считал вас спокойным, рассудительным человеком, а вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула — оно касалось недавно доверенного вам инкассо, — но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны; правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем; но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза, не может существовать.

— Но, господин управляющий, — теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом, — я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения! Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть! Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно, мои родители это подтвердят, нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму! Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий! Пощадите моих родителей! Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований; мне же и не говорили об этом ни слова. Вы, наверно, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с восьмичасовым поездом, несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий, я сейчас сам приду в фирму, будьте добры, так и скажите и засвидетельствуйте мое почтение хозяину!

И куда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко — видимо, наловчившись в кровати — приблизился к сундуку и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел открыть дверь, действительно хотел выйти и поговорить с управляющим; ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его, люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться и, поторопившись, он действительно будет на вокзале в восемь часов. Сначала он несколько раз соскальзывал с

попированного сундука, но наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост; на боль в нижней части туловища он уже не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего.

— Поняли ли вы хоть одно слово? – спросил тот родителей. – Уж не издевается ли он над нами?

— Господь с вами, – воскликнула мать, вся в слезах, – может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета! Грета! – крикнула она затем.

— Мама? – отозвалась сестра с другой стороны.

— Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорей за врачом. Ты слышала, как говорил Грегор?

— Это был голос животного, – сказал управляющий, сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери.

— — Анна! Анна! – закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. – Сейчас же приведите слесаря!

И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю – как же это сестра так быстро оделась? – и распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась – наверно, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье.

А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, – вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого, удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь, однако, сделать это поглубже, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они прикинули к двери, прислушиваясь.

Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя – на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество – и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов – чем же схватить теперь ключ? – но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол.

— Послушайте-ка, – сказал управляющий в соседней комнате, – он поворачивает ключ.

Это очень ободрило Грегора; но лучше бы все они, и отец, и мать, кричали ему, лучше бы они все кричали ему:

“Сильней, Грегор! Ну-ка, поднатужься, ну-ка, нажми на замок!” И вообразив, что все напряженно следят за его усилиями, он самозабвенно, изо всех сил вцепился в ключ. По мере того как ключ поворачивался, Грегор переваливался около замка с ножки на ножку; держась теперь стоймя только с помощью рта, он по мере надобности то повисал на ключе, то наваливался на него всей тяжестью своего тела. Звонкий щелчок поддавшегося наконец замка как бы разбудил Грегора. Переведя дух, он сказал себе:

“Значит, я все-таки обошелся без слесаря”, – и положил голову на дверную ручку, чтобы отворить дверь.

Поскольку отворил он ее таким способом, его самого еще не было видно, когда дверь уже довольно широко отворилась. Сначала он должен был медленно обойти одну створку, а обойти ее нужно было с большой осторожностью, чтобы не шлепнуться на спину у самого входа в комнату. Он был еще занят этим трудным передвижением и, торопясь, ни на что больше не обращал внимания, как вдруг услышал громкое “О!” управляющего – оно прозвучало, как свист ветра, – и увидел затем его самого: находясь ближе всех к двери, тот прижал ладонь к открытому рту и медленно пятился, словно его гнала какая-то невидимая, неодолимая сила. Мать – несмотря на присутствие управляющего, она стояла здесь с распущенными еще с ночи, взъерошенными волосами – сначала, стиснув руки, взглянула на отца, а потом сделала два шага к Грегору у рухнула, разметав вокруг себя юбки, опустив к груди лицо, так что его совсем не стало видно. Отец угрожающе сжал кулак, словно желая вытолкнуть Грегора в его комнату, потом нерешительно оглядел гостиную, закрыл руками глаза и заплакал, и могучая его грудь сотрясалась.

Грегор вовсе и не вошел в гостиную, а прислонился изнутри к закрепленной створке, отчего видны были только половина его туловища и заглядывавшая в комнату голова, склоненная набок. Тем временем сделалось гораздо светлее; на противоположной стороне улицы четко вырисовывался кусок бесконечного серо-черного здания – это была больница – с равномерно и четко разрезавшими фасад окнами; дождь еще шел, но только большими, в отдельности различимыми и как бы отдельно же падавшими на землю каплями. Посуда для завтрака стояла на столе в огромном количестве, ибо для отца завтрак был важнейшей трапезой дня, тянувшейся у него, за чтением газет, часами. Как раз на противоположной стене висела фотография Грегора времен его военной службы; на ней был изображен лейтенант, который, положив руку на эфес шлага и беззаботно улыбаясь, внушал уважение своей выправкой и своим мундиром. Дверь в переднюю была отворена, и так как желя входная дверь тоже была открыта, виднелась лестничная площадка и начало уходящей вниз лестницы.

— Ну вот, – сказал Грегор, отлично сознавая, что спокойствие сохранил он один, – сейчас я оденусь, соберу образцы и поеду. А вам хочется, вам хочется, чтобы я поехал? Ну вот, господин управляющий, вы видите, я не упрямец, я работаю с удовольствием; разъезды утомительны, но я не мог бы жить без разъездов. Куда же вы, господин управляющий? В контору? Да? Вы доложите обо всем? Иногда человек не в состоянии работать, но тогда как раз самое время вспомнить о прежних своих успехах в надежде, что тем внимательней и прилежнее будешь работать в дальнейшем, по устранении помехи. Ведь я так обязан хозяину, вы же отлично это знаете. С другой стороны, на мне лежит забота о родителях и о сестре. Я попал в беду, но я выкарабкаюсь. Только не ухудшайте моего и без того трудного

положения. Будьте в фирме на моей стороне! Коммивояжеры не любят, я знаю. Думаю, они зарабатывают бешеные деньги и при этом живут в свое удовольствие. Никто просто не задумывается над таким предрассудком. Но вы, господин управляющий, вы знаете, как обстоит дело, знаете лучше, чем остальной персонал, и даже, говоря между нами, лучше, чем сам хозяин, который, как предприниматель, легко может ошибиться в своей оценке в невыгодную для того или иного служащего сторону. Вы отлично знаете также; что, находясь почти весь год вне фирмы, коммивояжер легко может стать жертвой сплетни, случайностей и беспочвенных обвинений, защититься от которых он совершенно не в силах, так как по большей части он о них ничего не знает и только потом, когда, измотанный, возвращается из поездки, испытывает их скверные, уже далекие от причин последствия на собственной шкуре. Не уходите, господин управляющий, не дав мне ни одним словом понять, что вы хотя бы отчасти признаете мою правоту!

Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил, и, надувшись, глядел на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери – удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство.

Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если, не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно; с годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь, а свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и в конце концов расположить а свою пользу; ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи! Ах, если бы сестра не ушла! Она умна, она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей; она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла, Грегор должен был действовать сам. И, не подумав о том, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно и даже вероятней всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей; пробрался через проход; хотел было направиться к управляющему, – который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, – но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно; под лапками была твердая почва; они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались; даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел; и он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: “Помогите! Помогите ради бога!” – склонила голову, как будто хотела получить разглядеть Грегора, однако вместо этого бессмысленно отбежала назад; забыла, что позади нее стоит накрытый стол; достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из опрокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.

— Мама, мама, – тихо сказал Грегор и поднял на нее глаза.

На мгновение он совсем забыл об управляющем; однако при виде льющегося кофе он не удержался и несколько раз судорожно глотнул воздух. Увидев это, мать снова вскрикнула, спрыгнула со стола и упала на грудь поспешившему ей навстречу отцу. Но у Грегора не было сейчас времени заниматься родителями; управляющий был уже на лестнице; положив подбородок на перила, он бросил последний, прощальный взгляд назад. Грегор пустился было бегом, чтобы вернее его догнать; но управляющий, видимо, догадался о его намерении, ибо, перепрыгнув через несколько ступенек, исчез. Он только воскликнул:

“Фу!” – и звук этот разнесся по лестничной клетке. К сожалению, бегство управляющего, видимо, вконец расстроило державшегося до сих пор сравнительно стойко отца, потому что вместо того, чтобы самому побежать за управляющим или хотя бы не мешать Грегору догнать его, он схватил правой рукой трость управляющего, которую тот вместе со шляпой и пальто оставил на стуле, а левой взял со стола большую газету и, топая ногами, размахивая газетой и палкой, стал загонять Грегора в его комнату. Никакие просьбы Грегора не помогли, да и не понимал отец никаких его просьб; как бы смиренно Грегор ни мотал головой, отец только сильнее и сильнее топал ногами. Мать, несмотря на холодную погоду, распахнула окно настежь и, высунувшись в него, спрятала лицо в ладонях. Между окном и лестничной клеткой образовался сильный сквозняк, занавески взлетели, газеты на столе зашуршали, несколько листов поплыло по полу. Отец неумолимо наступал, издавая, как дикарь, шипящие звуки. А Грегор еще совсем не научился пятиться, он двигался назад действительно очень медленно. Если бы Грегор повернулся, он сразу же оказался бы в своей комнате, но он боялся раздражить отца медлительностью своего поворота, а отцовская палка в любой миг могла нанести ему смертельный удар по спине или по голове. Наконец, однако, ничего другого Грегору все-таки не осталось, ибо он, к ужасу своему, увидел, что, пятясь назад, не способен даже придерживаться определенного направления; и поэтому, не переставая боязливо коситься на отца, он начал – по возможности быстро, на самом же деле очень медленно – поворачиваться. Отец, видно, оценил его добрую волю и не только не мешал ему поворачиваться, но даже издали направлял его движение кончиком своей палки. Если бы только не это несносное шипение отца! Из-за него Грегор совсем терял голову. Он уже заканчивал поворот, когда, прислушиваясь к этому шипению, ошибся и повернул немного назад. Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в нее пролезть. Отец в его теперешнем состоянии, конечно, не сообразил, что надо открыть другую створку двери и дать Грегору проход. У него была одна навязчивая мысль – как можно скорее загнать Грегора в его комнату. Никак не потерпел бы он и обстоятельной подготовки, которая требовалась Грегору, чтобы выпрямиться во весь рост и таким образом, может быть, пройти через дверь. Словно не было никакого препятствия, он гнал теперь Грегора вперед с особенным шумом; звуки, раздававшиеся позади Грегора, уже совсем не походили на голос одного только отца; тут было и в самом деле не до шуток, и Грегор – будь что будет – втиснулся в дверь. Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасительного теперь пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату. Дверь захлопнули палкой, и наступила долгожданная тишина.

Лишь в сумерках очнулся Грегор от тяжелого, похожего на обморок сна. Если бы его и не побеспокоили, он все равно проснулся бы ненамного позднее, так как чувствовал себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся, но ему показалось, что разбудили его чьи-то легкие шаги и звук осторожно запираемой двери, выходящей в переднюю. На потолке и на верхних частях мебели лежал проникавший с улицы свет электрических фонарей, но внизу, у Грегора, было темно. Медленно, еще неуклюже шаря своими шупальцами, которые он только теперь начинал ценить, Грегор подполз к двери, чтобы досмотреть, что там произошло. Левый его бок казался сплошным длинным, неприятно саднящим рубцом, и он по-настоящему хромал на оба ряда своих ног. В ходе утренних приключений одна ножка – чудом только одна – была тяжело ранена и безжизненно волочилась по полу.

Лишь у двери он понял, что, собственно, его туда повлекло; это был запах чего-то съедобного. Там стояла миска со сладким молоком, в котором плавали ломтики белого хлеба. Он едва не засмеялся от радости, ибо есть ему хотелось еще сильнее, чем утром, и чуть ли не с глазами окунул голову в молоко. Но вскоре он разочарованно вытащил ее оттуда; мало того, что из-за раненого левого бока есть ему было трудно, – а есть он мог, только широко разевая рот и работая всем своим туловищем, – молоко, которое всегда было его любимым напитком и которое сестра, конечно, потому и принесла, показалось ему теперь совсем невкусным; он почти с отвращением отвернулся от миски и пополз назад, к середине комнаты.

В гостиной, как увидел Грегор сквозь щель в двери, зажгли свет, но если обычно отец в это время громко читал матери, а иногда и сестре вечернюю газету, то сейчас не было слышно ни звука. Возможно, впрочем, что это чтение, о котором ему всегда рассказывала и писала сестра, в последнее время вообще вышло из обихода. Но и кругом было очень тихо, хотя в квартире, конечно, были люди. “До чего же, однако, тихую жизнь ведет моя семья”, – сказал себе Грегор и, уставившись в темноту, почувствовал великую гордость от сознания, что он сумел добиться для своих родителей и сестры такой жизни в такой прекрасной квартире. А что, если этому покою, благополучию, довольству пришел теперь ужасный конец? Чтобы не предаваться подобным мыслям, Грегор решил размяться и принялся ползать по комнате.

Один раз в течение долгого вечера чуть приоткрылась, но тут же захлопнулась одна боковая дверь и еще раз – другая; кому-то, видно, хотелось войти, но опасения взяли верх. Грегор остановился непосредственно у двери в гостиную, чтобы каким-нибудь образом залучить нерешительного посетителя или хотя бы узнать, кто это, но дверь больше не отворялась, и ожидание Грегора оказалось напрасным. Утром, когда двери были заперты, все хотели войти к нему, теперь же, когда одну дверь он открыл сам, а остальные были, несомненно, отперты в течение дня, никто не входил, а ключи между тем торчали снаружи.

Лишь поздно ночью погасили в гостиной свет, и тут сразу выяснилось, что родители и сестра до сих пор бодрствовали, потому что сейчас, как это было отчетливо слышно, они все удалились на цыпочках. Теперь, конечно, до утра к Грегору никто не войдет, значит, у него было достаточно времени, чтобы без помех поразмыслить, как ему перестроить свою жизнь. Но высокая пустая комната, в которой он вынужден был плашмя лежать на полу, пугала его, хотя причины своего страха он не понимал, ведь он жил в этой комнате вот уже пять лет, и, повернувшись почти безотчетно, он не без стыда поспешил уползти под диван, где, несмотря на то, что спину ему немного прижало, а голову уже нельзя было поднять, он сразу же почувствовал себя очень уютно и пожалел только, что туловище его слишком широко, чтобы поместиться целиком под диваном.

Там пробыл он всю ночь, проведя ее отчасти в дремоте, которую то и дело вспугивал голод, отчасти же в заботах и смутных надеждах, неизменно приводивших его к заключению, что покамест он должен вести себя спокойно и обязан своим терпением и тактом облегчить семье неприятности, которые он причинил ей теперешним своим состоянием.

Уже рано утром – была еще почти ночь – Грегору представился случай испытать твердость только что принятого решения, когда сестра, почти совсем одетая, открыла дверь из передней и настороженно заглянула к нему в комнату. Она не сразу заметила Грегора, но, увидев его под диваном – ведь где-то, о господи, он должен был находиться, не мог же он улететь! – испугалась так, что, не совладав с собой, захлопнула дверь снаружи. Но словно раскаявшись в своем поведении, она тотчас же открыла дверь снова и на цыпочках, как к тяжелобольному или даже как к постороннему, вошла в комнату. Грегор высунул голову к самому краю дивана и стал следить за сестрой. Заметит ли она, что он оставил молоко, причем вовсе не потому, что не был голоден, и принесет ли какую-нибудь другую еду, которая подойдет ему больше? Если бы она не сделала этого сама, он скорее бы умер с голоду, чем обратил на это ее внимание, хотя его так и подмывало выскочить из-под дивана, броситься к ногам сестры и попросить у нее какой-нибудь хорошей еды. Но сразу же с удивлением заметив полную еще миску, из которой только чуть-чуть расплескалось молоко, сестра немедленно подняла ее, правда, не просто руками, а при помощи тряпки, и вынесла прочь. Грегору было очень любопытно, что она принесет взамен, и он стал строить всяческие догадки на этот счет. Но он никак не додумался бы до того, что сестра, по своей доброты, действительно сделала. Чтобы узнать его вкус, она принесла ему целый выбор кушаний, разложив всю эту снедь на старой газете. Тут были лежалые, с гнильцой овощи; оставшиеся от ужина кости, покрытые белым застывшим соусом; и немного изюму и миндаля; кусок сыру, который Грегор два дня назад объявил несъедобным; ломоть сухого хлеба, ломоть хлеба, намазанного маслом, и ломоть хлеба, намазанного маслом и посыпанный солью. Вдобавок ко всему этому она поставила ему ту же самую, раз и навсегда, вероятно, выделенную для Грегора миску, налив в нее воды. Затем она из деликатности, зная, что при ней Грегор не станет есть, поспешила удалиться и даже повернула ключ в двери, чтобы показать Грегору, что он может устраиваться, как ему будет удобнее. Лапки Грегора, когда он теперь направился к еде, замелькали одна быстрее другой. Да и раны его, как видно, совсем зажили, он не чувствовал уже никаких помех и, удивившись этому, вспомнил, как месяц с лишним назад он слегка обрезал палец ножом и как не далее чем позавчера эта рана еще причиняла ему довольно сильную боль. “Неужели я стал теперь менее чувствителен?” – подумал он и уже жадно влился в сыр, к которому его сразу потянуло настойчивее, чем к какой-либо другой еде. Со слезящимися от наслаждения глазами он быстро уничтожил подряд сыр, овощи, соус; свежая пища, напротив, ему не нравилась, даже запах ее казался ему несносным, и он оттаскивал в сторону от нее куски, которые хотел съесть. Он давно уже управился с едой и лениво лежал на том же месте, где ел, когда сестра в знак того, что ему пора удалиться, медленно повернула ключ. Это его сразу вспугнуло, хотя он уже почти дремал, и он опять поспешил под диван. Но ему стоило больших усилий пробыть под диваном даже то короткое время, пока сестра находилась в комнате, ибо от обильной еды туловище его несколько округлилось и в тесноте ему было трудно дышать. Превозмогая слабые приступы удушья, он глядел выпученными глазами, как ничего не подозревавшая сестра смела венником в одну кучу не только его объедки, но и снедь, к которой Грегор вообще не притрагивался, словно и это уже не пойдет впрок, как она поспешно

выбросила все это в ведро, прикрыла его дощечкой и вынесла. Не успела она отвернуться, как Грегор уже вылез из-под дивана, вытянулся и раздулся.

Таким образом Грегор получал теперь еду ежедневно – один раз утром, когда родители и прислуга еще спали, а второй раз после общего обеда, когда родители опять-таки ложились поспать, а прислугу сестра усылала из дому с каким-нибудь поручением. Они тоже, конечно, не хотели, чтобы Грегор умер с голоду, но знать все подробности кормления Грегора им было бы, вероятно, невыносимо тяжело, и, вероятно, сестра старалась избавить их хотя бы от маленьких огорчений, потому что страдали они и в самом деле достаточно.

Под каким предлогом выпроводили из квартиры в то первое утро врача и слесаря, Грегор так и не узнал: поскольку его не понимали, никому, в том числе и сестре, не приходило в голову, что он-то понимает других, и поэтому, когда сестра бывала в его комнате, ему доводилось слышать только вздохи да зывания к святым. Лишь позже, когда она немного привыкла ко всему – о том, чтобы привыкнуть совсем, не могло быть, конечно, и речи, – Грегор порой ловил какое-нибудь явно доброжелательное замечание. “Сегодня угощение пришлось ему по вкусу”, – говорила она, если Грегор съедал все дочиста, тогда как в противном случае, что постепенно стало повторяться все чаще и чаще, она говорила почти печально: “Опять все осталось”.

Но, не узнавая никаких новостей непосредственно, Грегор подслушивал разговоры в соседних комнатах, и стоило ему откуда-либо услышать голоса, он сразу же спешил к соответствующей двери и прижимался к ней всем телом. Особенно в первое время не было ни одного разговора, который так или иначе, хотя бы и тайно, его не касался. В течение двух дней за каждой трапезой совещались о том, как теперь себя вести; но и между трапезами говорили на ту же тему, и дома теперь всегда бывало не менее двух членов семьи, потому что никто, видимо, не хотел оставаться дома один, а покинуть квартиру всем сразу никак нельзя было. Кстати, прислуга – было не совсем ясно, что именно знала она о случившемся, – в первый же день, упав на колени, попросила мать немедленно отпустить ее, а прощаясь через четверть часа после этого, со слезами благодарила за увольнение как за величайшую милость и дала, хотя этого от нее вовсе не требовали, страшную клятву, что никому ни о чем не станет рассказывать.

Пришлось сестре вместе с матерью заняться стряпней; это не составило, впрочем, особого труда, ведь никто почти ничего не ел. Грегор то и дело слышал, как они тцетно уговаривали друг друга поесть и в ответ раздавалось “Спасибо, я уже сыт” или что-нибудь подобное. Пить, кажется, тоже перестали. Сестра часто спрашивала отца, не хочет ли он пива, и охотно вызывалась сходить за ним, а когда отец молчал, говорила, надеясь этим избавить его от всяких сомнений, что может послать за пивом дворничиху, но тогда отец отвечал решительным “нет”, и больше об этом не заговаривали.

Уже в течение первого дня отец разъяснил матери и сестре имущественное положение семьи и виды на будущее. Он часто вставал из-за стола и извлекал из своей маленькой домашней кассы, которая сохранилась от его погоревшей пять лет назад фирмы, то какую-нибудь квитанцию, то записную книжку. Слышно было, как он отпирал сложный замок и, достав то, что искал, опять поворачивал ключ. Эти объяснения отца были отчасти первой утешительной новостью, услышанной Грегором с начала его заточения. Он считал, что от того предприятия у отца решительно ничего не осталось, во всяком случае, отец не утверждал противного, а Грегор его об этом не спрашивал. Единственной в ту пору заботой Грегора было сделать все, чтобы семья как можно скорей забыла банкротство, приведшее всех в состояние полной безнадежности. Поэтому он начал тогда трудиться с особым пылом и чуть ли не сразу сделался из маленького приказчика вояжером, у которого были, конечно, совсем другие заработки и чьи деловые успехи тотчас же, в виде комиссионных, превращались в наличные деньги, каковые и можно было положить дома на стол перед удивленной и счастливой семьей. То были хорошие времена, и потом они уже никогда, по крайней мере в прежнем великолепии, не повторялись, хотя Грегор и позже зарабатывал столько, что мог содержать и действительно содержал семью. К этому все привыкли – и семья, и сам Грегор; деньги у него с благодарностью принимали, а он охотно их давал, но особой теплоты больше не возникало. Только сестра осталась все-таки близка Грегору; и так как она в отличие от него очень любила музыку и трогательно играла на скрипке, у Грегора была тайная мысль определить ее на будущий год в консерваторию, несмотря на большие расходы, которые это вызовет и которые придется покрыть за счет чего-то другого. Во время коротких задержек Грегора в городе в разговорах с сестрой часто упоминалась консерватория, но упоминалась всегда как прекрасная, несбыточная мечта, и даже эти невинные упоминания вызывали у родителей неудовольствие; однако Грегор думал о консерватории очень определенно и собирался торжественно заявить о своем намерении в канун рождества.

Такие, совсем бесполезные в нынешнем его состоянии мысли вертелись в голове Грегора, когда он, прислушиваясь, стоя прилипал к двери. Утомившись, он нет-нет да переставал слушать и, нечаянно склонив голову, ударялся о дверь, но тотчас же опять выпрямлялся, так как малейший учиненный им шум был слышен за дверью и заставлял всех умолкать. “Что он там опять вытворяет?” – говорил после небольшой паузы отец, явно глядя на дверь, и лишь после этого постепенно возобновлялся прерванный разговор.

Так вот, постепенно (ибо отец повторялся в своих объяснениях – отчасти потому, что давно уже отошел от этих дел, отчасти же потому, что мать не все понимала с первого раза) Грегор с достаточными подробностями узнал, что, несмотря на все беды, от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы даже немного выросло. Кроме того, оказалось, что деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор – он оставлял себе всего несколько гульденов, – уходили не целиком и образовали небольшой капитал. Стоя за дверью, Грегор усиленно кивал головой, обрадованный такой неожиданной предусмотрительностью и бережливостью. Вообще-то он мог бы этими лишними деньгами погасить часть отцовского долга и приблизить тот день, когда он, Грегор, волей был бы отказаться от своей службы, но теперь оказалось несомненно лучше, что отец распорядился деньгами именно так.

Денег этих, однако, было слишком мало, чтобы семья могла жить на проценты; их хватило бы, может быть, на год жизни, от силы на два, не больше. Они составляли, таким образом, только сумму, которую следовало, собственно, отложить на черный день, а не тратить; а деньги на жизнь надо было зарабатывать. Отец же был хоть и здоровым, но старым человеком, он уже пять лет не работал и не очень-то на себя надеялся; за эти пять лет, оказавшиеся первыми каникулами в его хлопотливой, но неудачливой жизни, он очень обрюзг и стал поэтому довольно тяжел на подъем. Уж не должна ли была зарабатывать деньги старая мать, которая страдала астмой, с трудом передвигалась даже по квартире и через день, задыхаясь, лежала на кушетке возле открытого окна? Или, может быть, их следовало зарабатывать сестре, которая в свои семнадцать лет была еще ребенком и имела полное право жить так же, как до сих пор, – изящно одеваться, спать допоздна, помогать в хозяйстве, участвовать в каких-нибудь скромных развлечениях и прежде всего играть на скрипке.

Когда заходила речь об этой необходимости заработка, Грегор всегда отпуждал дверь и бросался на прохладный кожаный диван, стоявший близ двери, потому что ему делалось жарко от стыда и от горя.

Он часто лежал там долгими ночами, не засыпая ни на одно мгновение, и часами терся о кожу дивана или не жалея трудов, придвигал кресло к окну, вскарабкивался к проему и, упершись в кресло, припадал к подоконнику что было явно только каким-то воспоминанием о чувстве освобождения, охватывавшем его прежде, когда он выглядывал из окна. На самом же деле все сколько-нибудь отдаленные предметы он видел день ото дня все хуже и хуже; больницу напротив, которую он прежде проклинал – так она примелькалась ему, Грегор вообще больше не различал, и не знай он доподлинно, что живет на тихой, но вполне городской улице Шарлоттенштрассе, он мог бы подумать, что глядит из своего окна на пустыню, в которую неразлично слились серая земля и серое небо. Стоило внимательной сестре лишь дважды увидеть, что кресло стоит у окна, как она стала каждый раз, прибрав комнату, снова придвигать кресло к окну и даже оставлять отныне открытыми внутренние оконные створки.

Если бы Грегор мог поговорить с сестрой и поблагодарить ее за все, что она для него делала, ему было бы легче принимать ее услуги; а так он страдал из-за этого.

Правда, сестра всячески старалась смягчить мучительность создавшегося положения, и чем больше времени проходило, тем это, конечно, лучше у нее получалось, но ведь и Грегору все становилось гораздо яснее со временем. Самый ее приход бывал для него ужасен. Хотя вообще-то сестра усердно оберегала всех от зрелища комнаты Грегора, сейчас она, войдя, не тратила времени на то, чтобы закрыть за собой дверь, а бежала прямо к окну, поспешно, словно она вот-вот задохнется, расплывала его настезь, а затем, как бы ни было холодно, на минутку задерживалась у окна, глубоко дыша. Этой шумной спешкой она пугала Грегора два раза в день; он все время дрожал под диваном, хотя отлично знал, что она, несомненно, избавила бы его от страхов, если бы только могла находиться в одной комнате с ним при закрытом окне.

Однажды – со дня случившегося с Грегором превращения минуло уже около месяца, и у сестры, следовательно, не было особых причин удивляться его виду – она пришла немного раньше обычного и застала Грегора глядящим в окно, у которого он неподвижно стоял, являя собой довольно страшное зрелище. Если бы она просто не вошла в комнату, для Грегора не было бы в этом ничего неожиданного, так как, находясь у окна, он не позволял ей открыть его, но она не просто не вошла, а отпрянула назад и заперла дверь; постороннему могло бы показаться даже, что Грегор подстерегал ее и хотел укусить, Грегор, конечно, сразу же спрятался под диван, но ее возвращения ему пришлось ждать до полудня, и была в ней какая-то необычная встревоженность. Из этого он понял, что она все еще не выносит и никогда не сможет выносить его облика и что ей стоит больших усилий не убежать прочь при виде даже той небольшой части его тела, которая высовывается из-под дивана. Чтобы избавить сестру и от этого зрелища, он однажды перенес на спине – на эту работу ему потребовалось четыре часа – простыню на диван и положил ее таким образом, чтобы она скрывала его целиком и сестра, даже нагнувшись, не могла увидеть его. Если бы, по ее мнению, в этой простыне не было надобности, сестра могла бы ведь и убрать ее, ведь Грегор укрылся так не для удовольствия, это было достаточно ясно, но сестра оставила простыню на месте, и Грегору показалось даже, что он поймал благодарный взгляд, когда осторожно приподнял головой простыню, чтобы посмотреть, как приняла это нововведение сестра.

Первые две недели родители не могли заставить себя войти к нему, и он часто слышал, как они с похвалой отзывались о теперешней работе сестры, тогда как прежде они то и дело сердились на сестру, потому что она казалась им довольно пустой девицей. Теперь и отец и мать часто стояли в ожидании перед комнатой Грегора, покуда сестра там убирала, и, едва только она выходила оттуда, заставляли ее подробно рассказывать, в каком виде была комната, что ел Грегор, как он на этот раз вел себя и заметно ли хоть маленькое улучшение. Впрочем, мать относительно скоро пожелала навестить Грегора, но отец и сестра удерживали ее от этого – сначала разумными доводами, которые Грегор, очень внимательно их выслушивая, целиком одобрял. Позднее удерживать ее приходилось уже силой, и когда она кричала: “Пустите меня к Грегору, это же мой несчастный сын! Неужели вы не понимаете, что я должна пойти к нему?” – Грегор думал, что, наверно, и в самом деле было бы хорошо, если бы мать приходила к нему. Конечно, не каждый день, но, может быть, раз в неделю; ведь она понимала все куда лучше, чем сестра, которая при всем своем мужестве была только ребенком и в конечном счете, наверно, только по детскому легкомыслию взяла на себя такую обузу.

Желание Грегора увидеть мать вскоре исполнилось. Заботясь о родителях, Грегор в дневное время уже не показывался у окна, ползать же по нескольким квадратным метрам пола долго не удавалось, лежать неподвижно было ему уже и ночами трудно, еда вскоре перестала доставлять ему какое бы то ни было удовольствие, и он приобрел привычку ползать для развлечения по стенам и по потолку. Особенно любил он висеть на потолке; это было совсем не то, что лежать на полу; дышалось свободнее, тело легко покачивалось; в том почти блаженном состоянии и рассеянности, в котором он там наверху пребывал, он подчас, к собственному своему удивлению, срывался и шлепался на пол. Но теперь он, конечно, владел своим телом совсем не так, как прежде, и с какой бы высоты он ни падал, он не причинял себе при этом никакого вреда. Сестра сразу заметила, что Грегор нашел новое развлечение – ведь ползая, он повсюду оставлял следы клейкого вещества, – и решила предоставить ему как можно больше места для этого занятия, выставив из комнаты мешавшую ему ползать мебель, то есть прежде всего сундук и письменный стол. Но она была не в состоянии сделать это одна; позвать на помощь отца она не осмеливалась, прислуга же ей, безусловно, не помогла бы, ибо, хотя эта шестнадцатилетняя девушка, нанятая после ухода прежней кухарки, не отказывалась от места, она испросила разрешение держать кухню на запоре и открывать дверь лишь по особому оклику; поэтому сестре ничего не оставалось, как однажды, в отсутствие отца, привести мать. Та направилась к Грегору с возгласами взволнованной радости, но перед дверью его комнаты умолкла. Сестра, конечно, сначала проверила, все ли в порядке в комнате; лишь после этого она впустила мать. Грегор с величайшей поспешностью скомкал и еще дальше потянул простыню; казалось, что простыня брошена на диван и в самом деле случайно. На этот раз Грегор не стал выглядывать из-под простыни; он отказался от возможности увидеть мать уже а этот раз, но был рад, что она наконец пришла.

— Входи, его не видно, – сказала сестра и явно повела мать за руку.

Грегор слышал, как слабые женщины старались сдвинуть с места тяжелый старый сундук и как сестра все время брала на себя большую часть работы, не слушая предостережений матери, которая боялась, что та надорвется. Это длилось очень долго. Когда они провозились уже с четверть часа, мать сказала, что лучше оставить сундук там, где он стоит: во-первых, он слишком тяжел и они не

управятся с ним до прихода отца, а стоя перед коньками, сундук и вовсе преградит Грегору путь, а во-вторых, еще неизвестно, приятно ли Грегору, что мебель выносят. Ей, сказала она, кажется, что ему это скорее неприятно; ее, например, вид голой стены прямо-таки удручает; почему же не должен он удручать и Грегора, коль скоро тот привык к этой мебели и потому почувствует себя в пустой комнате совсем заброшенным.

— И разве, — заключила мать совсем тихо, хотя она и так говорила почти шепотом, словно не желая, чтобы Грегор, местонахождения которого она не знала, услышал хотя бы звук ее голоса, а в том, что слов он не понимает, она не сомневалась, — разве, убирая мебель, мы не показываем, что перестали надеяться на какое-либо улучшение и безжалостно предоставляем его самому себе? По-моему, лучше всего постараться оставить комнату такой же, какой она была прежде, чтобы Грегор, когда он к нам возвратится, не нашел в ней никаких перемен и поскорее забыл это время.

Услышав слова матери, Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с людьми при однообразной жизни внутри семьи помучило, видимо, за эти два месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него вдруг потребности оказаться в пустой комнате. Неужели ему и в самом деле хотелось превратить свою теплую, уютно обставленную наследственной мебелью комнату в пещеру, где он, правда, мог бы беспрепятственно ползать во все стороны, но зато быстро и полностью забыл бы свое человеческое прошлое? Ведь он и теперь уже был близок к этому, и только голос матери, которого он давно не слышал, его востормошил. Ничего не следовало удалять; все должно было оставаться на месте; благотворное воздействие мебели на его состояние было необходимо; а если мебель мешала ему бессмысленно ползать, то это шло ему не во вред, а на великую пользу.

Но сестра была, увы, другого мнения; привыкнув — и не без основания — при обсуждении дел Грегора выступать в качестве знатока наперекор родителям, она и сейчас сочла совет матери достаточным поводом, чтобы настаивать на удалении не только сундука, но и вообще всей мебели, кроме дивана, без которого никак нельзя было обойтись. Требование это было вызвано, конечно, не только ребяческим упрямством сестры и ее так неожиданно и так нелегко обретенной в последнее время самоуверенностью; нет, она и в самом деле видела, что Грегору нужно много места для передвижения, а мебелью, судя по всему, он совершенно не пользовался. Может быть, впрочем, тут сказались и свойственная девушкам этого возраста пылкость воображения, которая всегда рада случаю дать себе волю и теперь побуждала Грету сделать положение Грегора еще более устрашающим, чтобы оказывать ему еще большие, чем до сих пор, услуги. Ведь в помещении, где были бы только Грегор да голые стены, вряд ли осмелился бы кто-либо, кроме Греты, войти.

Поэтому она не вняла совету матери, которая, испытывая в этой комнате какую-то неуверенность и тревогу, вскоре умолкла и принялась в меру своих сил помогать сестре, выставлявшей сундук за дверь. Без сундука Грегор, на худой конец, мог еще обойтись, но письменный стол должен был остаться. И едва обе женщины, вместе с сундуком, который они, кряхтя, толкали, покинули комнату, Грегор высунул голову из-под дивана, чтобы найти способ осторожно и по возможности деликатно вмешаться. Но на беду первой вернулась мать, а Грета, оставшаяся одна в соседней комнате, раскачивала, обхватив его обеими руками, сундук, который, конечно, так и не сдвинула с места. Мать же не привыкла к виду Грегора, она могла даже заболеть, увидев его, и поэтому Грегор испуганно попятился к другому краю дивана, отчего висевшая спереди простыня все же зашевелилась. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание матери. Она остановилась, немного постояла и ушла к Грете.

Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрерывное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки скребущей пол мебели — все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом; и, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого; сундук, где лежали его лобзик и другие инструменты, они уже вынесли; теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в народном училище, — и ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо от усталости они работали уже молча и был слышен только тяжелый топот их ног.

Поэтому он выскочил из-под дивана — женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол, — четырежды поменял направление бега, и впрямь не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернуться.

Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались; Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой.

— Что же мы возьмем теперь? — сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому, благодаря присутствию матери сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала — сказала, впрочем, дрожа и наобум:

— Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную? Намерение Греты было Грегору ясно — она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует! Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорей уж он вцепится Грете в лицо.

Но слова Греты как раз и встревожили мать, она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветастых обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор, визгливопронзительно: “Ах, боже мой, боже мой!” — упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.

— Эй, Грегор! — крикнула сестра, подняв кулак и сверкая глазами.

Это были первые после случившегося с ним превращения слова, обращенные к нему непосредственно. Она побежала в смежную комнату за какими-нибудь каплями, с помощью которых можно было бы привести в чувство мать; Грегор тоже хотел помочь матери — спасти портрет время еще было; но Грегор прочно прилип к стеклу и насилию от него оторвался; затем он побежал в соседнюю комнату, словно мог дать сестре какой-то совет, как в прежние времена, но вынужден был празднично стоять позади нее; перебирая разные

Пузырьки, она обернулась и испугалась; какой-то пузырьки упал на пол и разбился; осколок ранил Грегору лицо, а его всего обрызгало каким-то едким лекарством; не задерживаясь более, Грета взяла столько пузырьков, сколько могла захватить, к побежала к матери; дверь она захлопнула ногой. Теперь Грегор оказался отрезан от матери, которая по его вине была, возможно, близка к смерти; он не должен был открывать дверь, если не хотел прогнать сестру, а сестре следовало находиться с матерью; теперь ему ничего не оставалось, кроме как ждать; и, казнясь раскаянием и тревогой, он начал ползать, облазил все: стены, мебель и потолок – и наконец, когда вся комната уже завертелась вокруг него, в отчаянии упал на середину большого стола.

Прошло несколько мгновений. Грегор без сил лежал на столе, кругом было тихо, возможно, это был добрый знак. Вдруг раздался звонок. Прислуга, конечно, заперлась у себя в кухне, и открывать пришлось Грете. Это вернулся отец.

— Что случилось? – были его первые слова; должно быть, вид Греты все ему выдал. Грета отвечала глухим голосом, она, очевидно, прижалась лицом к груди отца:

— Мама упала в обморок, но ей уже лучше. Грегор вырвался.

— Ведь я же этого ждал, – сказал отец, – ведь я же вам всегда об этом твердил, но вы, женщины, никого не слушаете.

Грегору было ясно, что отец, превратно истолковав слишком скупые слова Греты, решил, что Грегор пустил в ход силу. Поэтому теперь Грегор должен был попытаться как-то смягчить отца, ведь объяснить с ним у него не было ни времени, ни возможности. И подбежав к двери своей комнаты, он прижался к ней, чтобы отец, войдя из передней, сразу увидел, что Грегор исполнен готовности немедленно вернуться к себе и что не нужно, следовательно, гнать его назад, а достаточно просто открыть дверь – и он сразу исчезнет.

Но отец был не в том настроении, чтобы замечать подобные тонкости.

— А! – воскликнул он, как только вошел, таким тоном, словно был одновременно зол и рад. Грегор отвел голову от двери и поднял ее навстречу отцу. Он никак не представлял себе отца таким, каким сейчас увидел его; правда, в последнее время, начав ползать по всей комнате, Грегор уже не следил, как прежде, за происходившим в квартире и теперь, собственно, не должен был удивляться никаким переменам. И все же, и все же – неужели это был отец? Тот самый человек, который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате и, не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости; а во время редких совместных прогулок в какое-нибудь воскресенье или по большим праздникам в наглухо застегнутом старом пальто, осторожно выставляя вперед костылик, шагал между Грегором и матерью, – которые и сами-то двигались медленно, – еще чуть-чуть медленней, чем они, и если хотел что-либо сказать, то почти всегда останавливался, чтобы собрать около себя своих провожатых. Сейчас он был довольно-таки осанист; на нем был строгий синий мундир с золотыми пуговицами, какие носят банковские рассыльные; над высоким тугим воротником нависал жирный двойной подбородок; черные глаза глядели из-под кустистых бровей внимательно и живо; обычно растрепанные, седые волосы были безукоризненно причесаны на пробор и напомажены. Он бросил на диван, дугой через всю комнату, свою фуражку с золотой монограммой какого-то, вероятно, банка и, спрятав руки в карманы брюк, отчего фалды длинного его мундира отогнулись назад, двинулся на Грегора с искаженным от злости лицом. Он, видимо, и сам не знал, как поступит; но он необычно высоко поднимал ноги, и Грегор поразился огромному размеру его подошв. Однако Грегор не стал мешкать, ведь он же с первого дня новой своей жизни знал, что отец считает единственно правильным относиться к нему с величайшей строгостью. Поэтому он побежал от отца, останавливаясь, как только отец останавливался, и спеца вперед, стоило лишь пошевелиться отцу. Так сделали они несколько кругов по комнате без каких-либо существенных происшествий, и так как двигались они медленно, все это даже не походило на преследование. Поэтому Грегор пока оставался на полу, боясь к тому же, что если он вскарабкается на стену или на потолок, то это покажется отцу верхом наглости. Однако Грегор чувствовал, что даже и такой беготни он долго не выдержит; ведь если отец делал один шаг, то ему, Грегору, приходилось проделывать за это же время бесчисленное множество движений. Одышка становилась все ощутимее, а ведь на его легкие нельзя было вполне полагаться и прежде. И вот, когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов, – вдруг совсем рядом с ним упал и покатился впереди него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко; вдогонку за первым тотчас же полетело второе; Грегор в ужасе остановился; бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Он наполнил карманы содержимым стоявшей на буфете вазы для фруктов и теперь, не очень-то тщательно целясь, швырял одно яблоко за другим. Как наэлектризованные, эти маленькие красные яблоки катались по полу и сталкивались друг с другом. Одно легко брошенное яблоко задело Грегору спину, но скатилось, не причинив ему вреда. Зато другое, пущенное сразу вслед, накрепко застряло в спине у Грегора. Грегор хотел отползти подальше, как будто перемена места могла унять внезапную невероятную боль; но он почувствовал себя словно бы пригвожденным к полу и растянулся, теряя сознание. Он успел увидеть только, как распахнулась дверь его комнаты и в гостиную, опережая кричавшую что-то сестру, влетела мать в нижней рубашке – сестра раздела ее, чтобы облегчить ей дыхание во время обморока; как мать подбежала к отцу и с нее, одна за другой, свалились на пол развязанные юбки и как она, спотыкаясь о юбки, бросилась отцу на грудь и, обнимая его, целиком слившись с ним, – но тут зрение Грегора уже отказало, – охватив ладонями затылок отца, взмолилась, чтобы он сохранил Грегору жизнь.

Тяжелое ранение, от которого Грегор страдал более месяца (яблоко никто не отважился удалить, и оно так и осталось в теле наглядной памятки), тяжелое это ранение напомнило, кажется, даже отцу, что, несмотря на свой нынешний плачевный и омерзительный облик, Грегор все-таки член семьи, что с ним нельзя обращаться как с врагом, а нужно во имя семейного долга подавить отвращение и терпеть, только терпеть.

И если из-за своей раны Грегор навсегда, вероятно, утратил прежнюю подвижность и теперь, чтобы пересечь комнату, ему, как старому инвалиду, требовалось несколько долгих-предолгих минут – о том, чтобы ползать вверху, нечего было и думать, – то за это ухудшение своего состояния он был, по его мнению, вполне вознагражден тем, что под вечер всегда отворялась дверь гостиной, дверь, за которой он начинал следить часа за два до этого, и, лежа в темноте своей комнаты, не видимый из гостиной, он мог видеть сидевших за освещенным столом родных и слушать их речи, так сказать, с общего разрешения, то есть совершенно иначе, чем раньше.

Это были, правда, уже не те оживленные беседы прежних времен, о которых Грегор всегда с тоской вспоминал в каморках гостиниц, когда падал, усталый, на влажную постель. Чаще всего бывало очень тихо. Отец вскоре после ужина засыпал в своем кресле; мать и сестра старались хранить тишину; мать, сильно нагнувшись вперед, ближе к свету, шила тонкое белье для магазина готового платья; сестра, поступившая в магазин продавщицей, занималась по вечерам стенографией и французским языком, чтобы, может быть, когда-нибудь позднее добиться лучшего места. Иногда отец просыпался и, словно не заметив, что спал, говорил матери: “Как ты сегодня опять долго шьешь!” – после чего тотчас же засыпал снова, а мать и сестра устало улыбались друг другу.

С каким-то упрямством отец отказывался снимать и дома форму рассыльного; и в то время как его халат без пользы висел на крючке, отец дремал на своем месте совершенно одетый, словно всегда был готов к службе и даже здесь только и ждал голоса своего начальника. Из-за этого его и поначалу-то не новая форма, несмотря на заботы матери и сестры, утратила опрятный вид, и Грегор, бывало, целыми вечерами глядел на эту хоть и сплюшь в пятнах, но сверкавшую неизменно начищенными пуговицами одежду, в которой старик весьма неудобно и все же спокойно спал.

Когда часы били десять, мать пыталась тихонько разбудить отца и уговорить его лечь в постель, потому что в кресле ему не удавалось уснуть тем крепким сном, в котором он, начинавший службу в шесть часов, крайне нуждался. Но из упрямства, завладевшего отцом с тех пор, как он стал рассыльным, он всегда оставался за столом, хотя, как правило, засыпал снова, после чего лишь с величайшим трудом удавалось убедить его перейти из кресла в кровать. Сколько ни уговаривали его мать и сестра, он не меньше четверти часа медленно качал головой, не открывая глаз и не поднимаясь. Мать дергала его за рукав, говорила ему на ухо ласковые слова, сестра отрывалась от своих занятий, чтобы помочь матери, но на отца это не действовало. Он только еще глубже опускался в кресло. Лишь когда женщины брали его под мышки, он открывал глаза, глядел попеременно то на мать, то на сестру и говорил: “Вот она, жизнь. Вот мой покой на старости лет”. И, опираясь на обеих женщин, медленно, словно не мог справиться с весом собственного тела, поднимался, позволял им довести себя до двери, а дойдя до нее, кивал им, чтобы они удалились, и следовал уже самостоятельно дальше, однако мать в спехе бросала шитье, а сестра – перо, чтобы побежать за отцом и помочь ему улечься в постель.

У кого в этой переутомленной и надрывавшейся от трудов семье оставалось время печься о Грегоре больше, чем то было безусловно необходимо? Расходы на хозяйство все больше сокращались; прислугу в конце концов рассчитали; для самой тяжелой работы приходила теперь по утрам и по вечерам огромная костистая женщина с седыми развевающимися волосами; все остальное, помимо своей большой швейной работы, делала мать. Приходилось даже продавать семейные драгоценности, которые мать и сестра с великим удовольствием надевала прежде в торжественных случаях, – Грегор узнавал об этом по вечерам, когда все обсуждали вырученную сумму. Больше всего, однако, сетовали всегда на то, что эту слишком большую по теперешним обстоятельствам квартиру нельзя покинуть, потому что неясно, как переселить Грегора. Но Грегор понимал, что переселению мешает не только забота о нем, его-то можно было легко перевезти в каком-нибудь ящике с отверстиями для воздуха; удерживали семью от перемены квартиры главным образом полная безнадежность и мысль о том, что с ними стряслось такое несчастье, какого ни с кем из их знакомых и родственников никогда не случалось. Семья выполняла решительно все, чего требует мир от бедных людей, отец носил завтраки мелким банковским служащим, мать надрывалась за шитьем белья для чужих людей, сестра, повинувшись покупателям, сновала за прилавком, но на большее у них не хватало сил. И рана на спине Грегора каждый раз начинала болеть заново, когда мать и сестра, уложив отца, возвращались в гостиную, но не брались за работу, а садились рядом, щека к щеке; когда мать, указывая на комнату Грегора, говорила теперь: “Закрой ту дверь, Грета” – и Грегор опять оказывался в темноте, а женщины за стеной вдвоем проливали слезы или сидели, уставясь в одну точку, без слез.

Ночи и дни Грегор проводил почти совершенно без сна. Иногда он думал, что вот откроется дверь и он снова, совсем как прежде, возьмет в свои руки дела семьи; в мыслях его после долгого перерыва вновь появлялись хозяин и управляющий, коммивояжеры и ученики-мальчики болван-дворник, два-три приятеля из других фирм, горничная из одной провинциальной гостиницы – милое мимолетное воспоминание, кассирша из одного шляпного магазина, за которой он всерьез, но слишком долго ухаживал, – все они появлялись попеременно с незнакомыми или уже забытыми людьми, но вместо того, чтобы помочь ему и его семье, оказывались, все как один, неприступны, и он бывал рад, когда они исчезали. А потом он опять терял всякую охоту заботиться о семье, его охватывало возмущение плохим уходом, и, не представляя себе, чего бы ему хотелось съесть, он замышлял забраться в кладовку, чтобы взять все, что ему, хотя бы он и не был голоден, причиталось. Уже не раздумывая, чем бы доставить Грегору особое удовольствие, сестра теперь утром и днем, прежде чем бежать в свой магазин, ногою запихивала в комнату Грегора какую-нибудь еду, чтобы вечером, независимо от того, притронется он к ней или – как бывало чаще всего – оставит ее нетронутой, одним взмахом веника вымести эту снедь. Уборка комнаты, которой сестра занималась теперь всегда по вечерам, проходила как нельзя более быстро. По стенам тянулись грязные полосы, повсюду лежали кучи пыли и мусора. Первое время при появлении сестры Грегор забивался в особенно запущенные углы, как бы упрекая ее таким выбором места. Но если бы он даже стоял там неделями, сестра все равно не исправилась бы; она же видела грязь ничуть не хуже, чем он, она просто решила оставить ее. При этом она с совершенно не свойственной ей в прежние времена обидчивостью, овладевшей теперь вообще всей семьей, следила за тем, чтобы уборка комнаты Грегора оставалась только ее, сестры, делом. Однажды мать затеяла в комнате Грегора большую уборку, для чего извела несколько ведер воды – такое обилие влаги было, кстати, неприятно Грегору, и, обидевшись, он неподвижно распластался на диване, – но мать была за это наказана. Как только сестра

заметила вечером перемену в комнате Грегора, она, до глубины души оскорбившись, вбежала в гостиную и, несмотря на заклинивание заламывавшей руки матери, разразилась рыданиями, на которые родители – отец, конечно, испуганно вскочил со своего кресла – глядели сначала беспомощно и удивленно; потом засуетились и они: отец, справа, стал упрекать мать за то, что она не предоставила эту уборку сестре; сестра же, слева, наоборот, кричала, что ей никогда больше не дадут убирать комнату Грегора; тем временем мать пыталась утащить в спальню отца, который от волнения совсем потерял власть над собой; сотрясаясь от рыданий, сестра колотила по столу своими маленькими кулачками; а Грегор громко шипел от злости, потому что никому не приходило в голову закрыть дверь и избавить его от этого зрелища и от этого шума.

Но даже когда сестре, измученной службой, надоело заботиться, как прежде, о Грегоре, матери не пришлось заменять ее, но без присмотра Грегор все-таки не остался. Теперь пришел черед служанки. Старая эта вдова, которая за долгую жизнь вынесла, вероятно, на своих могучих плечах немало горестей, в сущности не питала к Грегору отвращения. Без всякого любопытства она однажды случайно открыла дверь его комнаты и при виде Грегора, который, хотя его никто не гнал, от неожиданности забежал по полу, удивленно остановилась, сложив на животе руки. С тех пор она неизменно, утром и вечером, мимоходом приоткрывала дверь и заглядывала к Грегору. Сначала она даже подзывала его к себе словами, которые, вероятно, казались ей приветливыми, такими, например, как: “Подика сюда, навозный жучок!” или: “Где наш жучище?” Грегор не отвечал ей, он не двигался с места, словно дверь вовсе не открывалась. Лучше бы этой служанке приказали ежедневно убирать его комнату, вместо того чтобы позволять ей без толку беспокоить его, когда ей заблагорассудится! Как-то ранним утром – в стекла бил сильный дождь, должно быть, уже признак наступающей весны, – когда служанка начала обычную свою болтовню, Грегор до того разозлился, что, словно бы изготовившись для нападения, медленно, впрочем, и нетвердо, повернулся к служанке. Та, однако, вместо того чтобы испугаться, только занесла вверх стоявший у двери стул и широко открыла при этом рот, и было ясно, что она намерена закрыть его не раньше, чем стул в ее руке опустится на спину Грегору.

— Значит, дальше не полезем? – спросила она, когда Грегор от нее отвернулся, и спокойно поставила стул в угол, на прежнее место.

Грегор теперь почти ничего не ел. Только когда он случайно проходил мимо приготовленной ему снеди, он для забавы брал кусок в рот, а потом, продержав его там несколько часов, большей частью выплевывал. Сперва он думал, что аппетит у него отбивает вид его комнаты, но как раз с переменами в своей комнате он очень быстро примирился. Сложилась уже привычка выставлять в эту комнату вещи, для которых не находилось другого места, а таких вещей было теперь много, потому что одну комнату сдали троим жильцам. Эти строгие люди – у всех троих, как углядел через щель Грегор, были окладистые бороды – педантично добивались порядка, причем порядка не только в своей комнате, но, коль скоро уж они здесь поселились, во всей квартире и, значит, особенно в кухне. Хлама, тем более грязного, они терпеть не могли. Кроме того, большую часть мебели они привезли с собой. По этой причине в доме оказалось много лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить.

Все они перекочевали в комнату Грегора. Равным образом – ящик для золы и мусорный ящик из кухни. Все хотя бы лишь временно ненужное служанка, которая всегда торопилась, просто швыряла в комнату Грегора; к счастью, Грегор обычно видел только выбрасываемый предмет и державшую его руку. Возможно, служанка и собиралась при случае водворить эти вещи на место или; наоборот, выбросить все разом, но пока они так и оставались лежать там, куда их однажды бросили, если только Грегор, пробираясь сквозь эту рухлядь, не сдвигал ее с места – сначала поневоле, так как ему негде было ползать, а потом со все возрастающим удовольствием, хотя после таких путешествий он часами не мог двигаться от смертельной усталости и тоски.

Так как жильцы порою ужинали дома, в общей гостиной, дверь гостиной в иные вечера оставалась запертой, но Грегор легко мирился с этим, тем более что даже и теми вечерами, когда она бывала отворена, часто не пользовался, а лежал, чего не замечала семья, в самом темном углу своей комнаты. Но однажды служанка оставила дверь в гостиную приоткрытой; приоткрытой осталась она и вечером, когда вошли жильцы и зажегся свет. Они уселись с того края стола, где раньше ели отец, мать и Грегор, развернули салфетки и взяли в руки ножи и вилки. Тотчас же в дверях появилась мать с блюдом мяса и сразу же за ней сестра – с полным блюдом картошки. От еды обильно шел пар. Жильцы нагнулись над поставленными перед ними блюдами, словно желая проверить их, прежде чем приступить к еде, и тот, что сидел посредине и пользовался, видимо, особым уважением двух других, и в самом деле разрезал кусок мяса прямо на блюде, явно желая определить, достаточно ли оно мягкое и не следует ли отослать его обратно. Он остался доволен, а мать и сестра, напряженно следившие за ним, с облегчением улыбнулись.

Сами хозяйева ели на кухне. Однако, прежде чем отправиться на кухню, отец зашел в гостиную и, сделав общий поклон, с фуражкой в руках обошел стол. Жильцы дружно поднялись и что-то пробормотали в бороды. Оставшись затем одни, они ели в полном почти молчании. Грегору показалось странным, что из всех разнообразных шумов трапезы то и дело выделялся звук жующих зубов, словно это должно было показать Грегору, что для еды нужны зубы и что самые раскрепасные челюсти, если они без зубов, никуда не годятся. “Да ведь и я чего-нибудь съел бы, – озабоченно говорил себе Грегор, – но только не того, что они. Как много эти люди едят, а я погибаю!”

Именно в тот вечер – Грегор не помнил, чтобы за все это время он хоть раз слышал, как играет сестра, – из кухни донеслись звуки скрипки. Жильцы уже покончили с ужином, средний, достав газету, дал двум другим по листу, и теперь они сидели откинувшись и читали. Когда заиграла скрипка, они прислушались, поднялись и на цыпочках подошли к двери передней, где, сгрудившись, и остановились. По-видимому, их услышали на кухне, и отец крикнул:

— Может быть, музыка господам неприятна? Ее можно прекратить сию же минуту.

— Напротив, – сказал средний жилец, – не угодно ли барышне пройти к нам и поиграть в этой комнате, где, право же, гораздо приятнее и уютнее?

— О, пожалуйста! – воскликнул отец, словно на скрипке играл он.

Жильцы вернулись в гостиную и стали ждать. Вскоре явились отец с пюпитром, мать с нотами и сестра со скрипкой. Сестра спокойно занялась приготовлениями к игре;

родители, никогда прежде не сдававшие комнат и потому обращавшиеся с жильцами преувеличенно вежливо, не осмелились сесть на

свои собственные ступни; отец прислонился к двери, засунув правую руку за борт застегнутой livреи, между двумя пуговицами; мать же, которой один из жильцов предложил стул, оставила его там, куда тот его случайно поставил, а сама сидела в сторонке, в углу.

Сестра начала играть. Отец и мать, каждый со своей стороны, внимательно следили за движениями ее рук. Грегор, привлеченный игрой, отважился продвинуться немного дальше обычного, и голова его была уже в гостиной. Он почти не удивлялся тому, что в последнее время стал относиться к другим не очень-то чутко; прежде эта чуткость была его гордостью. А между тем именно теперь у него было больше, чем когда-либо, оснований прятаться, ибо из-за пыли, лежавшей повсюду в его комнате и при малейшем движении поднимавшейся, он и сам тоже был весь покрыт пылью; на спине и на боках он таскал с собой нитки, волосы, остатки еды; слишком велико было его равнодушие ко всему, чтобы ложиться, как прежде, по нескольку раз в день на спину и чиститься о ковер. Но, несмотря на свой неопрятный вид, он не побоялся продвинуться вперед по сверкающему полу гостиной.

Впрочем, никто не обращал на него внимания. Родные были целиком поглощены игрой на скрипке, а жильцы, которые сначала, засунув руки в карманы брюк, стали у самого пюпитра сестры, откуда все они заглядывали в ноты, что, несомненно, мешало сестре, отошли вскоре, вполголоса переговариваясь и опустив головы, к окну, куда и бросал теперь озабоченные взгляды отец. Было и впрямь похоже на то, что они обманулись в своей надежде послушать хорошую, интересную игру на скрипке, что все это представление им наскучило и они уже лишь из вежливости поступались своим покоем. Особенно свидетельствовало об их большой нервозности то, как они выпускали вверх из ноздрей и изо рта дым сигар. А сестра играла так хорошо! Ее лицо склонилось набок, внимательно и печально следовал ее взгляд за нотными знаками. Грегор прополз еще немного вперед и прижался головой к полу, чтобы получить возможность встретиться с ней глазами. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Ему казалось, что перед ним открывается путь к желанной, неведомой пище. Он был полон решимости пробраться к сестре и, дернув ее за юбку, дать ей понять, чтобы она прошла со своей скрипкой в его комнату, ибо здесь никто не оценит ее игры так, как оценит эту игру он. Он решил не выпускать больше сестру из своей комнаты, по крайней мере до тех пор, покуда он жив; пусть ужасная его внешность сослужит ему наконец службу; ему хотелось, появляясь у всех дверей своей комнаты одновременно, шипеньем отпугивать всякого, кто подступится к ним; но сестра должна остаться у него не по принуждению, а добровольно; пусть она сядет рядом с ним на диван и склонит к нему ухо, и тогда он поведаст ей, что был твердо намерен определить ее в консерваторию и что об этом, не случись такого несчастья, он еще в прошлое рождество – ведь рождество, наверно, уже прошло? – всем заявил бы, не боясь ничьих и никаких возражений. После этих слов сестра, растрогавшись, заплакала бы, а Грегор поднялся бы к ее плечу и поцеловал бы ее в шею, которую она, как поступила на службу, не закрывала ни воротниками, ни лентами.

— Господин Замза! – крикнул средний жилец отцу и, не тратя больше слов, указал пальцем на медленно продвигавшегося вперед Грегора. Скрипка умолкла, средний жилец сначала улыбнулся, сделав знак головой друзьям, а потом снова взглянул на Грегора. Отец, по-видимому, счел более необходимым, чем прогонять Грегора, успокоить сначала жильцов, хотя те вовсе не волновались и Грегор занимал их, казалось, больше, нежели игра на скрипке. Отец поспешил к ним, стараясь своими широко разведенными руками оттеснить жильцов в их комнату и одновременно заслонить от их глаз Грегора своим туловищем. Теперь они и в самом деле начали сердиться – то ли из-за поведения отца, то ли обнаружив, что жили, не подозревая о том, с таким соседом, как Грегор. Они требовали от отца объяснений, поднимали в свою очередь руки, теребили бороды и лишь медленно отступали к своей комнате. Между тем сестра преодолела растерянность, в которую впала оттого, что так внезапно прервали ее игру; несколько мгновений она держала в бессильно повисших руках смычок и скрипку и, словно продолжая играть, по-прежнему глядела на ноты, а потом вдруг встрепенулась и, положив инструмент на колени матери – та все еще сидела на своем стуле, пытаясь преодолеть приступ удушья глубокими вздохами, – побежала в смежную комнату, к которой под натиском отца быстро приближались жильцы. Видно было, как под опытными руками сестры взлетают и укладываются одеяла и пуховики на кроватях. Прежде чем жильцы достигли своей комнаты, сестра кончила стелить постели и выскользнула оттуда. Отцом, видимо, снова настолько овладело его упрямство, что он забыл о всякой почтительности, с которой как-никак обязан был относиться к своим жильцам. Он все оттеснял и оттеснял их, покуда уже в дверях комнаты средний жилец не топнул громко ногой и не остановил этим отца.

— Позвольте мне заявить, – сказал он, подняв руку и поискав глазами также мать и сестру, – что ввиду мерзких порядков, царящих в этой квартире и в этой семье, – тут он решительно плюнул на пол, – я наотрез отказываюсь от комнаты. Разумеется, я ни гроша не заплачу и за те дни, что я здесь прожил, напротив, я еще подумаю, не предъявить ли мне вам каких-либо претензий, смею вас заверить, вполне обоснованных.

Он умолк и пристально посмотрел вперед, словно чего-то ждал. И действительно, оба его друга тотчас же подали голос:

— Мы тоже наотрез отказываемся.

После этого он взялся за дверную ручку и с шумом захлопнул дверь.

Отец ошупью проковылял к своему креслу и повалился в него; с первого взгляда можно было подумать, что он расположился, как обычно, вздремнуть, но по тому, как сильно и словно бы неудержимо качалась у него голова, видно было, что он вовсе не спал. Грегор все время неподвижно лежал на том месте, где его застигли жильцы. Разочарованный неудачей своего плана, а может быть, и от слабости после долгого голодания, он совсем утратил способность двигаться. Он не сомневался, что с минуты на минуту на него обрушится всеобщее негодование, и ждал. Его не вспугнула даже скрипка, которая, выскользнув из дрожащих пальцев матери, упала с ее колен и издала гулкий звук.

— Дорогие родители, – сказала сестра, хлопнув, чтобы призвать к вниманию, рукою по столу, – так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.

— Она тысячу раз права, – сказал отец тихо. Мать, которая все еще задыхалась, начала глухо кашлять в кулак с безумным выражением глаз.

Сестра поспешила к матери и придержала ей голову ладонью. Отец, которого слова сестры навели, казалось, на какие-то более определенные мысли, выпрямился в кресле; он играл своей форменной фуражкой, лежавшей на столе среди все еще неубранных после ужина тарелок, и время от времени поглядывал на притихшего Грегора.

— Мы должны попытаться избавиться от него, — сказала сестра, обращаясь только к отцу, ибо мать ничего не слышала за своим кашлем, — оно вас обоих погубит, вот увидите. Если так тяжело трудиться, как мы все, немогуту еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.

И она разразилась такими рыданиями, что ее слезы скатались на лицо матери, которое сестра принялась вытирать машинальным движением рук.

— Дитя мое, — сочувственно и с поразительным пониманием сказал отец, — но что же нам делать?

Сестра только пожала плечами в знак растерянности, которая — в противоположность прежней ее решимости — овладела ею, когда она плакала.

— Если бы он понимал нас... — полувопросительно сказал отец.

Сестра, продолжая плакать, резко махнула рукой в знак того, что об этом нечего и думать.

— Если бы он понимал нас, — повторил отец и закрыл глаза, разделяя убежденность сестры в невозможности этого, — тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так...

— Пусть убирается отсюда! — воскликнула сестра — Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу. Гляди, отец, — закричала она внезапно, — он уже опять принимается за свое!

И в совершенно непонятном Грегору ужасе сестра даже покинула мать, буквально оттолкнувшись от стула, словно предпочитала пожертвовать матерью, но не оставаться рядом с Грегором, и поспешила к отцу, который, встревожившись только из-за ее поведения, тоже встал и протянул навстречу ей руки, как бы желая ее защитить.

Но ведь у Грегора и в мыслях не было пугать кого бы то ни было, а тем более сестру. Он просто начал поворачиваться, чтобы уползти в свою комнату, а это действительно сразу же бросилось в глаза, потому что из-за болезненного своего состояния он должен был при трудных поворотах помогать себе головой, неоднократно поднимая ее и стучаясь ею об пол. Он остановился и оглянулся. Добрые его намерения, казалось, были распознаны, испуг прошел. Теперь все смотрели на него молча и грустно. Мать полулежала на стуле, вытянув ноги, глаза ее были от усталости почти закрыты; отец и сестра сидели рядом, сестра обняла отца за шею.

“Наверно, мне уже можно повернуться”, — подумал Грегор и начал свою работу снова. Он не мог не пытеться от напряжения и вынужден был то и дело отдыхать. Впрочем, его никто и не торопил, его предоставили самому себе. Закончив поворот, он сразу же пополз прямо. Он удивился большому расстоянию, отделявшему его от комнаты, и не мог понять, как он при своей слабости недавно еще умудрился проделать этот же путь почти незаметно. Заботясь только о том, чтобы поскорей доползти, он не замечал, что никакие слова, никакие возгласы родных ему уже не мешают. Лишь оказавшись в дверях, он повернул голову, не полностью, потому что почувствовал, что шея у него деревенеет, но достаточно, чтобы увидеть, что позади него ничего не изменилось и только сестра встала. Последний его взгляд упал на мать, которая теперь совсем спала.

Как только он оказался в своей комнате, дверь поспешно захлопнули, заперли на задвижку, а потом и на ключ. Внезапного шума, раздавшегося сзади, Грегор испугался так, что у него подкосилась лапка. Это сестра так спешила. Она уже стояла наготове, потом легко метнулась вперед — Грегор даже не слышал, как она подошла, — и, крикнув родителям: “Наконец-то!” — повернула ключ в замке.

“А теперь что?” — спросил себя Грегор, озираясь в темноте. Вскоре он обнаружил, что вообще уже не может шевелиться. Он этому не удивился, скорее ему показалось неестественным, что до сих пор он ухитрялся передвигаться на таких тонких ножках. В остальном ему было довольно покойно. Он чувствовал, правда, боль во всем теле, но ему показалось, что она постепенно слабеет и наконец вовсе проходит. Сгнившего яблока в спине и образовавшегося вокруг него воспаления, которое успело покрыться пылью, он уже почти не ощущал. О своей семье он думал с нежностью и любовью. Он тоже считал, что должен исчезнуть, считал, пожалуй, еще решительней, чем сестра. В этом состоянии чистого и мирного раздумья он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз.

Когда рано утром пришла служанка — торопясь, дюжая эта женщина, сколько ее ни просили не поднимать шума, хлопала дверьми так, что с ее приходом в квартире уже прекращался спокойный сон, — она, заглянув, как всегда, к Грегору, ничего особенного сначала не заметила. Она решила, что это он нарочно лежит так неподвижно, притворяясь обиженным: в смысленности его она не сомневалась. Поскольку в руке у нее случайно был длинный веник, она попыталась пощекотать им Грегора, стоя в дверях. Но так как и это не оказало ожидаемого действия, она, рассердившись, легонько толкнула Грегора и насторожилась только тогда, когда, не встретив никакого сопротивления, сдвинула его с места. Поняв вскоре, что произошло, она сделала большие глаза, присвистнула, но не стала медлить, а рванула дверь спальни и во весь голос крикнула в темноту:

— Поглядите-ка, оно издохло, вот оно лежит совсем-совсем дохлое!

Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели, господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке; так вошли они в комнату Грегора. Тем временем

отворилась и дверь гостиной, где ночевала, с тех пор как появились жильцы, Грета; она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же.

— Умер? – сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять.

— О том и твержу, – сказала служанка и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его.

— Ну вот, – сказал господин Замза, – теперь мы можем поблагодарить бога.

Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала:

— Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел. Что ему ни приносили из еды, он ни к чему не притрагивался.

Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским, это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда.

— Зайди к нам на минутку, Грета, – сказала госпожа Замза с печальной улыбкой, и Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта.

Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака: о них забыли.

— Где завтрак? – угрюмо спросил служанку средний. Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах потертых своих пиджачков.

Тут отворилась дверь спальни и появился господин Замза в ливрее и с ним под руку с одной стороны жена, а с другой – дочь. У всех были немного заплаканные глаза; Грета нет-нет да прижималась лицом к плечу отца.

— Сейчас же оставьте мою квартиру! – сказал господин Замза и указал на дверь, не отпуская от себя обеих женщин.

— Что вы имеете в виду? – несколько смущенно сказал средний жилец и льстиво улыбнулся. Два других, заложив руки за спину, непрерывно их потирали, как бы в радостном ожидании большого спора, сулящего, однако, благоприятный исход.

— Я имею в виду именно то, что сказал, – ответил господин Замза и бок о бок со своими спутницами подошел к жильцу. Тот несколько мгновений постоял молча, глядя в пол, словно у него в голове все перестраивалось.

— Ну что же, тогда мы уйдем, – сказал он затем и поглядел на господина Замзу так, словно, внезапно смирившись, ждал его согласия даже и в этом случае.

Господин Замза только несколько раз коротко кивнул ему, вытаращив глаза. После этого жилец и в самом деле тотчас направился широким шагом в переднюю; оба его друга, которые, прислушиваясь, уже перестали потирать руки, пустились за ним прямо-таки вприпрыжку, словно боялись, что господин Замза пройдет в переднюю раньше, чем они, и отрежет их от их жоака. В передней все три жильца сняли с вешалки шляпы, вытащили из подставки для тростей трости, молча поклонились и покинули квартиру. С каким-то, как оказалось, совершенно необоснованным недоверием господин Замза вышел с обеими женщинами на лестничную площадку; облокотясь на перила, они глядели, как жильцы медленно, правда, но неуклонно спускались по длинной лестнице, исчезая на каждом этаже на определенном повороте и показываясь через несколько мгновений опять; чем дальше уходили они вниз, тем меньше занимали они семью Замзы, а когда, сначала навстречу им, а потом высоко над ними, стал, щеголяя осанкой, подниматься с корзиной на голове подручный из мясной, господин Замза и женщины покинули площадку и все с каким-то облегчением вернулись в квартиру.

Они решили посвятить сегодняшний день отдыху и прогулке; они не только заслуживали этого перерыва в работе, он был им просто необходим. И поэтому они сели за стол и написали три объяснительных письма: господин Замза – своей дирекции, госпожа Замза – своему работодателю, а Грета – своему шефу. Покуда они писали, вошла служанка сказать, что она уходит, так как утренняя ее работа выполнена. Писавшие сначала только кивнули, не поднимая глаз, но когда служанка, вместо того чтобы удалиться, осталась на месте, на нее недовольно взглянули.

— Ну? – спросил господин Замза.

Служанка, улыбаясь, стояла в дверях с таким видом, как будто у нее была для семьи какая-то счастливая новость, сообщить которую она собиралась только после упорных расспросов. Почти вертикальное страусовое перышко на ее шляпе, всегда раздражавшее господина Замзу, покачивалось во все стороны.

— Так что же вам нужно? – опросила госпожа Замза, к которой служанка относилась все-таки наиболее почтительно.

— Да, – отвечала служанка, давась от добродушного смеха, – насчет того, как убрать это, можете не беспокоиться. Уже все в порядке.

Госпожа Замза и Грета склонились над своими письмами, словно намереваясь писать дальше; господин Замза, который заметил, что служанка собирается рассказать все подробно, решительно отклонил это движением руки. И так как ей не дали говорить, служанка вспомнила, что она очень торопится, крикнула с явной обидой: “Счастливо оставаться!” – резко повернулась и покинула квартиру, неистово хлопая дверьми.

— Вечером она будет уволена, – сказал господин Замза, но не получил ответа ни от жены, ни от дочери, ибо служанка нарушила их едва

обретенный покой. Они поднялись, подошли к окну и, обнявшись там. Господин Замза повернулся на стуле в их сторону и несколько мгновений молча глядел на них. Затем он воскликнул:

— Подите же сюда! Забудьте наконец старое. И хоть немного подумайте обо мне.

Женщины тотчас повиновались, поспешили к нему, приласкали его и быстро закончили свои письма.

Затем они покинули квартиру все вместе, чего уже много месяцев не делали, и поехали на трамвае за город. Вагон, в котором они сидели одни, был полон теплого солнца. Удобно откинувшись на своих сиденьях, они обсуждали виды на будущее, каковые при ближайшем рассмотрении оказались совсем не плохими, ибо служба, о которой они друг друга до сих пор, собственно, и не спрашивали, была у всех у них на редкость удобная, а главное – она многое обещала в дальнейшем. Самым существенным образом улучшить их положение легко могла сейчас, конечно, перемена квартиры; они решили снять меньшую и более дешевую, но зато более уютную и вообще более подходящую квартиру, чем теперешняя, которую выбрал еще Грегор. Когда они так беседовали, господину и госпоже Замза при виде их все более оживлявшейся дочери почти одновременно подумалось, что, несмотря на все горести, покрывшие бледностью ее щеки, она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей. Приумолкнув и почти безотчетно перейдя на язык взглядов, они думали о том, что вот и пришло время подыскать ей хорошего мужа. И как бы в утверждение их новых мечтаний и прекрасных намерений, дочь первая поднялась в конце их поездки и выпрямила свое молодое тело.

Перевод С. Апта

3. В ПОСЕЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ

— Это необычный аппарат, – сказал офицер путешественнику-исследователю и оглядел не лишенным восхищения взором устройство, которое сам давно уже знал. Путешественник, похоже, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать на смертной казни солдата, осужденного за неповиновение и оскорбление своего начальника. Интерес к этой казни был, по-видимому, и в самом поселении осужденных не так уж велик. По крайней мере, здесь, в этой маленькой, низко лежащей, закрытой со всех сторон голыми склонами песчаной долине помимо офицера и путешественника находились только осужденный, тупоумный, широкоротый человек с заросшей головой и запущенным лицом, и солдат с тяжелой цепью в руках, от которой отходили цепи поменьше, охватывавшие осужденного в запястьях и лодыжках, а также вокруг шеи, и, в свою очередь, перехваченные другими соединительными цепями. Впрочем, у осужденного был такой по-собачьи преданный вид, что создавалось впечатление, что его запросто можно было отпустить бегать по склонам и ко времени начала казни требовалось только свистнуть, чтобы он вернулся обратно.

Путешественнику было мало дела до аппарата и он с почти явным безразличием разгуливал туда-сюда за спиной осужденного, в то время как офицер совершал последние приготовления, то заползал под врытый глубоко в землю аппарат, то взбирался на лестницу, чтобы осмотреть верхние части. Всю эту работу, собственно говоря, мог бы проделать и машинист, но офицер сам выполнял ее с большим усердием, то ли потому, что был особым поклонником этого аппарата, то ли потому, что по каким-то другим причинам не мог доверить работу никому больше.

— Ну вот, все готово! – провозгласил он, наконец, и спустился вниз. Он был крайне утомлен, дышал широко раскрытым ртом и втиснул за воротник кителя два дамских носовых платочка из нежной ткани.

— Эта форма, однако, слишком тяжела для тропиков, – сказал путешественник вместо того, чтобы осведомиться насчет аппарата, как того ожидал офицер.

— Определенно тяжела, – сказал офицер и умыл измазанные маслом руки в стоявшем тут же чане с водой, – но она символизирует для нас родину; мы не хотим терять родину. Однако, прошу вас осмотреть аппарат, – добавил он тут же, вытирая руки полотенцем и одновременно показывая на аппарат. – Мне там пришлось кое-что подправить, но теперь аппарат будет работать вполне самостоятельно.

Путешественник кивнул и посмотрел туда, куда указывал офицер. Тот решил обезопаситься на все непредвиденные случаи и сказал:

— Конечно, без неполадок дело не обходится, но я надеюсь, сегодня их не будет. Хотя ожидать можно всего. Ведь аппарат должен находиться в работе двенадцать часов без перерыва. Если же что-нибудь случится, то это могут быть только мелочи, я их тут же устраню.

— Не присесть ли вам? – спросил он, наконец, вытащил из кучи плетеный стул и предложил его путешественнику.

Тот не мог отказаться. Теперь он сидел на краю ямы, которую окинул беглым взглядом. Яма была не очень глубокой. С одной стороны ее насыпью возвышалась вырытая земля, с другой стоял аппарат.

— Я не знаю, – проговорил офицер, – объяснил ли вам уже комендант принцип работы аппарата.

Путешественник сделал неопределенное движение рукой; офицеру и не надо было ничего лучшего, ибо сейчас он мог сам все объяснять.

— Этот аппарат, – начал он и взял рукоять привода, на которую тут же оперся, – изобретение нашего бывшего коменданта. Я принимал участие в самых первых запусках аппарата, а также до конца участвовал во всех остальных работах по его усовершенствованию. Но заслуга изобретения аппарата принадлежит одному только бывшему коменданту. Вы уже что-нибудь слышали об этом человеке? Нет? Знаете, не будет преувеличением сказать, что построение всего здешнего поселения является его рук делом. Мы, его друзья, уже к моменту его смерти знали, что все устройство поселения столь четко подчинено принципу внутренней замкнутости, что преемник коменданта, сколько бы новых планов не вертелось у него в голове, еще много лет не сумеет изменить ничего из старого. Наше предсказание сбылось; новому коменданту пришлось смириться с такой ситуацией. Жаль, что вы не знали бывшего коменданта! Однако, – оборвал себя офицер, – я тут болтаю, а его аппарат вот он, прямо перед нами. Как вы видите, он состоит из трех частей. За время его

существования к каждой из частей приклеилось свое, скажем так, простонародное название. Нижняя часть называется ложе, верхняя – чертежник, а вот эта, средняя, висячая часть носит название борона.

— Борона? – переспросил путешественник. Он не совсем внимательно слушал, солнце чересчур задерживалось в этой лишенной всякой тени долине; с трудом удавалось собрать собственные мысли. И тем большее изумление вызывал у него офицер, который в тесном, едва ли не парадном, увешанном эполетами и аксельбантами мундире с таким рвением рассказывал ему все это и к тому же еще, не переставая говорить, то тут, то там подкручивал гаечным ключом какую-нибудь гайку. В таком же состоянии, как путешественник, пребывал, похоже, и солдат. Он наматал себе на запястья цепь, ведущую к осужденному, оперся одной рукой на свою винтовку, глубоко свесил голову и ни о чем не беспокоился. Путешественника это не удивляло, ибо офицер говорил по-французски, а французского, определенно, не понимали ни солдат, ни осужденный. И тут тем более бросалось в глаза то обстоятельство, что осужденный все равно пытался следить за объяснениями офицера. С какой-то сонной настойчивостью он все время направлял свой взгляд туда, куда указывал офицер, и когда сейчас тот вынужден был прервать свою речь под влиянием вопроса путешественника, осужденный точно так же, как и офицер, смотрел на вопрошавшего.

— Да, борона, – ответил офицер. – Подходящее название. Иглы здесь расположены как шипы у бороны, да и движение такое же, как у бороны, пусть даже на одном месте и гораздо более утонченное. Впрочем, вы и сами сейчас поймете. Сюда, на ложе, кладут осужденного... – Я сначала опишу вам принцип работы аппарата, а потом уж мы приступим к самой процедуре. Тогда вы сможете лучше наблюдать за ней. К тому же шестерня чертежника сильно стерлась, при работе она здорово скрипит, что практически не дает возможности говорить. Запасные части здесь, к сожалению, достать трудно. – Вот, значит, ложе, как я уже сказал. Оно целиком покрыто слоем ваты; для чего, вы еще узнаете. Осужденного вниз животом кладут на эту вату, голого, разумеется; вот тут пристяжные ремни для рук, тут для ног и тут для шеи. Здесь, у изголовья ложа, куда человека, как я сказал вам, кладут сначала лицом вниз, находится эта маленькая, обитая войлоком болванка, которую легко можно отрегулировать так, что она прямоком зайдет человеку в глотку. Ее цель заключается том, чтобы предотвращать крики и кусание языка. Естественно, осужденный вынужден брать в рот этот кляп, поскольку иначе шейный ремень сломает ему позвонки.

— Это вата? – спросил путешественник и нагнулся.

— Да, конечно, – сказал офицер с улыбкой, – потрогайте сами. Он взял ладонь путешественника и провел ею по ложу. – Это вата особого приготовления, поэтому у нее такой странный вид. Я еще расскажу вам, для чего она предназначена.

Путешественник уже немного увлекся аппаратом. Приложив ладонь ко лбу для защиты от солнца, он смотрел на аппарат вверх. Это было крупное устройство. Ложе и чертежник имели одинаковые размеры и выглядели как два темных сундука. Чертежник располагался примерно в двух метрах над ложем; оба были соединены по углам четырьмя медными стержнями, которые едва не отсвечивали на солнце яркими лучами. Между сундуками на стальной ленте висела борона.

Офицер вряд ли заметил прежнее безразличие путешественника, однако от него наверняка не ускользнул его пробуждавшийся сейчас интерес; поэтому он отставил свои объяснения, чтобы дать путешественнику время спокойно полюбоваться аппаратом. Осужденный повторял за действиями путешественника; поскольку же он не мог прикрыть глаза ладонью, то просто жмурился наверх незащищенными глазами.

— Значит, человек лежит... – сказал путешественник, откинулся в кресле и скрестил ноги.

— Да, – сказал офицер, слегка сдвинул фуражку назад и провел ладонью по горячему лицу, – а теперь слушайте! Как ложе, так и чертежник снабжены своей собственной электрической батареей; ложе само нуждается в ней, а чертежнику она нужна для бороны. Как только человека привязали, ложе приходит в движение. Оно подергивается маленькими, очень быстрыми толчками одновременно по бокам и вверх-вниз. Вы, наверное, видели подобные аппараты в лечебницах; только у нашего ложа все движения точно рассчитаны, ведь они должны быть особенно тщательно подогнаны под движения бороны. На долю бороны в конечном итоге и выпадает исполнение приговора.

— А как звучит приговор? – спросил путешественник.

— Вы даже этого не знаете? – удивленно воскликнул офицер и тут же прикусил губу. – Прошу прощения, если мои объяснения, быть может, несколько беспорядочны; покорно прошу вас извинить меня. Дело в том, что давать объяснения раньше было обыкновением коменданта; новый же комендант избегает этой почетной обязанности. Но то, что он не информирует такого высокого гостя... – Путешественник попытался отмахнуться от этих почестей обеими руками, но офицер настаивал на выбранном выражении, – то, что он даже не информирует такого высокого гостя о форме нашего приговора, это снова из разряда новшеств, которые... – у него с языка вот-вот было готово сорваться ругательство, но он сдержался и только сказал:

— Меня об этом не уведомили, я тут не виноват. Но, знаете ли, в конечном итоге я лучше всех могу знакомить интересующихся с видами наших приговоров, поскольку ношу с собой, вот здесь – он ударил по своему нагрудному карману – соответствующие чертежи, сделанные старым комендантом собственноручно.

— Чертежи, сделанные самим комендантом? – спросил путешественник. – Он что, был здесь всем сразу: солдатом, судьей, конструктором, химиком, чертежником?

— Так точно, – ответил офицер, кивая головой и смотря перед собой неподвижным, задумчивым взглядом. Потом он оценивающе взглянул на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы можно было приложить их к чертежам. Поэтому он подошел к чану и еще раз их вымыл. Вслед за этим он извлек из кармана маленькую кожаную книжечку и сказал:

— Наш приговор звучит не так уж сурово. Осужденному бороней на тело пишется та заповедь, через которую он переступил. На теле этого осужденного, например, – офицер указал на стоявшего рядом человека – будет написано: «чти своего начальника!»

Путешественник мельком взглянул на осужденного. Тот, когда офицер показал на него, склонил голову и, казалось, напрягал весь своей слух, чтобы что-нибудь узнать. Однако движения его пучком сложенных губ явно показывали, что он ничего не понимал. Путешественнику много чего хотелось спросить, но при виде этого человека он спросил лишь:

— Он знает свой приговор?

— Нет, — сказал офицер и хотел тут же продолжить свои объяснения, но путешественник прервал его:

— Он не знает своего приговора?

— Нет, — снова ответил офицер, приостановился на секунду, словно требуя от путешественника более конкретного обоснования вопроса, и произнес затем:

— Было бы бесполезно объявлять его ему. Он все равно увидит его на своем теле.

Путешественник хотел было совсем ничего не говорить, но почувствовал, как осужденный направил на него свой взгляд, точно спрашивал, может ли он одобрить такой ход дела. Поэтому путешественник, который до этого удобно откинулся в кресле, снова нагнулся вперед и спросил:

— Но то, что его вообще приговаривают, это-то он знает?

— Тоже нет, — сказал офицер и с улыбкой посмотрел на путешественника, будто ожидая от него каких-то особенных дополнительных сообщений.

— Нет.., — пробормотал путешественник и провел рукой по лбу, — значит, этот человек и сейчас еще не знает, как отнеслись к доводам его защиты?

— Он не имел возможности защищаться, — сказал офицер и посмотрел в сторону, словно говорил сам с собой и не хотел как-нибудь посрамить путешественника изложением этих вполне естественных для него вещей.

— Но ведь он должен был иметь такую возможность, — воскликнул путешественник и встал с кресла.

Офицер понял, что рисковал сейчас надолго застрять в своих объяснениях работы аппарата и поэтому подошел к путешественнику, приклеился к его руке, показал пальцем на осужденного, который сейчас — поскольку все внимание так явно было направлено на него — стоял приосанившись (солдат, к тому же, потянул цепь), и сказал:

— Дело вот в чем. Здесь, в поселении, меня назначили судьей. Несмотря на мою молодость. Потому что еще и бывшему коменданту я помогал в рассмотрении всех вопросов, связанных с наказаниями, да и с аппаратом я знаком лучше всех. Принцип, которым я руководствуюсь в своих решениях, звучит: вина всегда бесспорна. Другие суды могут не следовать этому принципу, в них ведь сидит не один судья и, кроме того, над ними стоят еще суды повыше. Здесь же ситуация другая или, по крайней мере, была другой при старом коменданте. Новый-то уже проявил охоту вмешаться в работу моего суда, но пока мне удавалось отразить его поползновения и, надеюсь, будет удаваться и впредь. Вы желаете, чтобы я разъяснил вам суть сегодняшнего дела? Извольте. Оно такое же простое, как и все остальные. Один капитан заявил сегодня утром, что вот этот человек, который служит ему денщиком и спит перед его дверьми, проспал время своего служебного бдения. В его обязанности, среди прочего, входит вставать к началу каждого часа и отдавать перед дверьми капитана честь. Право, не сложная обязанность и к тому же необходимая, если учесть, что он должен все время оставаться начеку как в целях охраны, так и в целях обслуживания капитана. Минувшей ночью капитан хотел проверить, исправно ли денщик выполняет свои обязанности. Ровно в два часа он открыл дверь и обнаружил его спящим на пороге, свернувшись калачиком. Он взял хлыст и ударил его по лицу. Вместо того, чтобы вскочить и просить прощения, денщик схватил своего хозяина за ноги, стал их трясти и кричать: «Брось хлыст, а не то я тебя сожру!» Вот такое дело. Час тому назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу вслед за этим вынес приговор. Потом я приказал наложить на виновного цепи. Все очень просто. Если бы я сначала вызвал этого человека к себе и учинил ему допрос, то возникла бы одна только путаница. Он стал бы врать; если бы мне удалось уличить его во лжи, он стал бы придумывать новую ложь и так далее. Сейчас же я держу его и не даю ему больше творить беззаконие. Все ли я вам объяснил? Однако время идет, пора бы уже и казнь начинать, а я еще не кончил знакомить вас с аппаратом.

Он усадил путешественника обратно в кресло, подошел к аппарату и начал:

— Как вы видите, борона по своей форме соответствует фигуре человека; вот здесь иглы для туловища, здесь — для ног. Для головы предназначен только этот маленький резец. Вам все ясно? — он любезно склонил туловище в сторону путешественника, готовый к самым развернутым пояснениям.

Путешественник, сморщив лоб, смотрел на борону. Информация офицера о здешнем судопроизводстве не удовлетворила его. И все же он был вынужден говорить себе, что находился не где-нибудь, а в поселении для осужденных, что здесь были необходимы особые наказания и что здесь до конца надо было действовать по военным меркам. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, очевидно настроенного вводить, пусть даже и медленно, новые судебные методы, которых не хотел понимать своей ограниченной головой этот офицер. Отрываясь от такого рода мыслей, путешественник спросил:

— А комендант будет присутствовать на казни?

— Нельзя сказать с точностью, — ответил офицер, чувствительно задетый внезапным вопросом, и его приветливая физиономия скривилась. — Именно поэтому нам нужно поторопиться. Я даже буду вынужден, как мне ни жаль, сократить свои объяснения. Но, например, завтра, когда аппарат снова почистят, — то, что он сильно загрязняется, его единственный недостаток, — я мог бы восполнить недостающие пояснения; то есть сейчас — только самое необходимое. Когда человек лежит на ложе и оно, заведенное, вибрирует,

Борона опускается на тело. Она сама настраивается так, что лишь слегка касается тела кончиками игл; когда настройка закончилась, этот стальной трос сразу распрямляется в стержень и представление начинается. Непосвященный не замечает внешних различий в наказаниях. Борона на первый взгляд работает равномерно. Подергиваясь, она втыкает свои иглы в тело, которое вдобавок дрожит из-за движений ложа. Для того, чтобы дать возможность каждому проверить исполнение приговора, поверхность бороны сделана из стекла. Не обошлось, правда, без некоторых технических трудностей, связанных с закреплением на этой поверхности игл, но после многих попыток нам это все-таки удалось. Мы ведь не жалели своих сил. И теперь все могут через стекло видеть, как надпись наносится на тело. Не угодно ли вам подойти поближе и взглянуть на иглы?

Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и нагнулся над бороней.

— Перед вами два вида игл, часто разбросанных по всей поверхности. Рядом с каждой длинной иглой находится короткая. Длинная пишет, а короткая струями подает воду, смывая, таким образом, кровь и обеспечивая четкость написанного. Вода с кровью течет по этим маленьким желобкам к главному стоку, откуда по трубе уходит в яму. — Офицер пальцем точно показал путь, который проделывает окровавленная вода. Когда он, чтобы наиболее наглядно продемонстрировать это, совершил у горловины сточной трубы пригоршнями ладоней подхватывающий жест, путешественник поднял голову и, ощупывая рукой пространство у себя за спиной, стал искать дорогу обратно к своему креслу. Тут он к своему ужасу увидел, что и осужденный вслед за ним последовал приглашению офицера осмотреть устройство бороны с непосредственной близости. Он немного протащил заспанного солдата на цепи вперед и тоже склонился над стеклом. Было видно, как он неуверенным взором пытался отыскать то, что перед ним только что рассматривали два господина, и как это ему, ввиду нехватки пояснений, решительно не удавалось. Он наклонялся то туда, то сюда; без конца обводил глазами стекло. Путешественник хотел было отогнать его, ибо то, что делал этот осужденный, было, очевидно, наказуемо. Но офицер придержал путешественника одной рукой, другой взял с песчаного склона ком земли и бросил его в солдата. Солдат моментально открыл глаза, увидел, что позволяет себе осужденный, бросил винтовку, уперся каблуками в землю, одернул осужденного так, что тот сразу упал, и взирал потом сверху, как тот крутился у его ног и звенел цепями.

— Поставь его на ноги! — крикнул офицер, ибо он заметил, что эта картина с заключенным слишком отвлекала внимание путешественника. Путешественник даже перегнулся через борону, совсем о ней позабыв, и хотел только увидеть, что будет с осужденным.

— Смотри, обращай с ним как следует! — снова крикнул офицер. Он обежал аппарат, сам подхватил осужденного под мышки и поднял его, то и дело теряющего под собой опору, с помощью солдата на ноги.

— Ну, теперь я все знаю, — сказал путешественник, когда офицер вернулся к нему.

— Кроме самого важного, — заметил тот, тронул путешественника за руку и показал наверх.

— Там, внутри корпуса чертежника, расположен шестеренчатый механизм, который регулирует движения бороны, и этот механизм выводится в то или иное положение непосредственно чертежом, определяющим суть приговора. Я еще пользуюсь чертежами бывшего коменданта. Вот они, — он вытащил несколько листов из кожаной книжечки.

— К сожалению, я не могу дать вам их в руки; они самое дорогое, что у меня есть. Присядьте, я покажу вам их с этого расстояния, так вам все будет хорошо видно. Он показал первый листок. Путешественник был бы и рад сказать что-нибудь похвальное, но его взору предстали только запутанные, начерченные в форме какого-то лабиринта, во многих местах пересекающие друг друга линии, которые так густо покрывали бумагу, что лишь с трудом можно было различить белые пространства между ними.

— Читайте, — сказал офицер.

— Я не могу, — сказал путешественник.

— Тут же все ясно видно, — сказал офицер.

— Выполнено весьма искусно, — сказал путешественник уклончиво, — но я не могу ничего расшифровать.

— Да, — вымолвил офицер, усмехнулся и снова засунул свою книжечку в карман, — это не чистописание для школьников. Этот шрифт надо разбирать долго. В конце концов вы бы, несомненно, его тоже разобрали. Разумеется, нельзя делать шрифт простым; надпись же призвана убивать не сразу, а должна дать растянуться процедуре в среднем на двенадцать часов. Переломный пункт обычно наступает к шестому часу. Короче говоря, непосредственная надпись должна быть окружена множеством всяких росписей и вензелей, сама же она опоясывает тело тонкой лентой, все остальное место предназначено исключительно для украшений. Ну как, сейчас вы можете оценить по достоинству работу бороны и всего аппарата в целом? Смотрите!

Он вскочил на лестницу, дернул какую-то шестеренку и крикнул вниз:

— Осторожно, отойдите в сторону!

И все пришло в движение. Если бы шестерня не скрипела так сильно, это была бы великолепная картина. Офицер, точно он впервые увидел эту горе-шестеренку, пригрозил ей кулаком; повернувшись к путешественнику, развел в извиняющемся жесте руки и поспешно спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Что-то там, видимое только ему одному, было еще не в порядке; он снова взобрался наверх, запустил обе руки внутрь чертежника, затем, чтобы было быстрее, в обход лестницы соскользнул по одному из медных стержней вниз, и, крайне напрягаясь, чтобы пробиться сквозь шум аппарата, крикнул в ухо путешественнику:

— Вам понятен процесс? Борона начинает писать; как только она закончит первое наложение надписи на спине осужденного, тело медленно переворачивается на бок с тем, чтобы дать бороне место для продолжения работы. В это время раны, возникшие на спине от игл, прикладываются к вате, которая, вследствие особых своих качеств, сразу останавливает кровотечение и подготавливает тело для дальнейшего углубления надписи. Вот эти зубцы по краям бороны срывают при новом перевертывании тела вату с ран, сбрасывают ее в

яму и борона снова есть чем заняться. И так она пишет все глубже и глубже двенадцать часов в ряд. Первые шесть часов осужденный живет почти так, как раньше, только страдает от боли. Через два часа после начала казни удаляется кляп, поскольку у человека нет больше сил кричать. Сюда, в эту электрически подогреваемую миску у изголовья, кладется теплая рисовая каша, которую он, если хочет, может есть или, лучше сказать, брать то, что достанет языком. Никто не упускает такой возможности. Во всяком случае я не знаю ни одного такого, а у меня огромный опыт. Лишь примерно к шестому часу желание есть у него проходит. Тогда я обычно опускаюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Последний кусок осужденный редко глотает, он только ворочает его во рту и выплевывает потом в яму. Мне тогда приходится нагибаться, иначе он еще попадет мне в лицо. Каким же тихим он, однако, делается к шестому часу! Суть дела доходит до самого тупого. И начинается это с глаз. А уж оттуда расходится повсюду. Такой, знаете, бывает вид, что самого тянет лечь под борону. Ничего ведь такого не происходит, просто человек начинает разбирать надпись, он складывает губы трубочкой, словно во что-то вслушивается. Вы видели, не так-то легко разобрать надпись глазами; наш же человек разбирает ее своими ранами. Правда, это уйма работы; ему требуется еще шесть часов, чтобы довести ее до конца. Однако затем борона полностью нанизывает его на свои иглы и сбрасывает в яму, где он шлепается на окровавленную воду и вату. На этом суд заканчивается, и мы, то есть я и солдат, закапываем тело.

Путешественник склонил ухо к офицеру и, засунув руки в карманы сюртука, смотрел за работой машины. Осужденный тоже смотрел за ней, но ничего не понимал. Он слегка нагнулся и наблюдал за покачивавшимися иглами, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубашку и штаны так, что они свалились с него; он хотел подхватить падающее добро, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат поднял его в воздух и стряхнул с него последние ключья. Офицер настроил машину и в наступавшей сейчас тишине осужденного положили под борону. Цепи с него сняли и вместо этого укрепили ремни, что, похоже, поначалу даже означало для него какое-то облегчение. И вот борона опустилась еще на немного, ибо осужденный был худощавым человеком. Когда острия игл коснулись его, трепет прошел по его коже; в то время как солдат был занят его правой рукой, он вытянул левую, вытянул просто так, наобум, но это было то направление, где стоял путешественник. Офицер неотрывно смотрел на путешественника со стороны, точно пытался прочитать на его лице впечатление, производимое на него этой экзекуцией, суть которой он довел до него хотя бы поверхностно. Ремень, предназначенный для запястья, порвался; вероятно, солдат слишком сильно натянул его. Офицер вынужден был идти на подмогу, солдат показал ему оторвавшийся кусок. Офицер направился к нему и сказал, повернув лицо к путешественнику:

— Эта машина — очень сложный механизм; то тут, то там в ней просто должно что-нибудь рваться или ломаться; но не следует из-за этого портить себе общее впечатление. Ремень, кстати, мы сейчас же заменим; вместо него я возьму цепь, хоть это и повлияет на чувствительность рабочего колебания у правой руки. И, накладывая цепь, он продолжал: — Средства для поддержания машины в надлежащем состоянии сейчас крайне ограничены. При старом коменданте только для этой цели я имел в своем распоряжении специальную кассу. Здесь был и склад, в котором хранились всевозможные запасные части. Признаюсь, я пользовался всем этим с некоторым расточительством, я имею в виду раньше, не сейчас, как утверждает новый комендант, которому все служит только поводом для того, чтобы бороться со старыми порядками. Касса на аппарат сейчас находится под его попечительством, и если я пошлю к нему кого-нибудь за новым ремнем, он потребует оторванный кусок в качестве доказательства, новый же ремень придет лишь дней через десять, будет не самого лучшего качества и надолго его не хватит. А как я за это время должен запускать машину без ремня, это никого не волнует.

Путешественник размышлял: решительно вмешиваться в дела посторонних всегда связано с риском. Он не был ни жителем этого поселения; ни гражданином государства, которому оно принадлежало. Если бы он захотел осудить эту казнь или даже препятствовать ей, ему могли сказать: «Ты здесь чужой, веди себя смирно!» На это он бы ничего не смог возразить, пожалуй, только заметить, что не понимает сам себя в данной ситуации, ибо путешествует лишь с тем, чтобы смотреть и ни в коем случае не для того, чтобы менять судоустройство у других. Однако тут ситуация была, надо сказать, весьма заманчивой. Несправедливость всего этого дела и бесчеловечность казни были налицо. Никто не мог упрекнуть путешественника в каком-нибудь своекорыстии, потому как осужденный был ему незнаком, он не был его соотечественником, да и вообще человеком, который вызывал собой чувство жалости. Сам путешественник прибыл сюда с рекомендациями высоких инстанций, был встречен с большой учтивостью, и то, что его пригласили на эту казнь, кажется, даже говорило о том, что от него ждали его мнения по поводу этого суда. Это было тем более очевидным, что нынешний комендант, как путешественник уже не раз мог сегодня слышать, не являлся приверженцем действующего судебного производства и почти не скрывал своей враждебности по отношению к офицеру. Вдруг путешественник услышал гневный крик офицера. Тот только что, не без труда, затолкал в рот осужденному болванку-кляп, как осужденный в безудержном порыве рвоты закрыл глаза и его выворотило наизнанку. Офицер поспешно сдернул его голову с болванки и хотел повернуть ее к яме, но было слишком поздно, рвотная масса уже стекала по машине.

— Это все вина коменданта! — вскричал офицер и стал в беспамятстве дергать медные стержни спереди. — Мне тут гадят, как в хлеву.

Дрожащей рукой он показал путешественнику, что случилось.

— Разве я не пытался часами втолковать коменданту, что за день до казни нельзя больше давать осужденному никакой пищи! Но новый добрый ветерок, знай, дует по-своему. Эти комендантские барышни, перед тем как человека уведут, пичкают его сладости дальше некуда. Все свою жизнь он питался вонючей рыбой, а сейчас жрет сладости! Хорошо, пусть будет даже так, я бы ничего не говорил, но почему мне не дадут новый войлок, о котором я прошу коменданта уже три месяца. Как можно без отвращения брать в рот этот кляп, который уже обсосало и искусало перед смертью больше сотни человек?

Голова осужденного снова покоилась на ложе, и он имел мирный вид; солдат занимался тем, что чистил рукой осужденного машину. Офицер подошел к путешественнику, который в каком-то предчувствии сделал шаг назад, но офицер только взял его за руку и отвел в сторону.

— Я хочу сказать вам пару слов по секрету, — произнес он, — я ведь могу это сделать?

— Разумеется, — сказал путешественник и слушал, опустив глаза.

— Эти судебные методы и эта казнь, которую у вас сейчас есть возможность лицезреть, в настоящее время не имеют в нашем

поселении открытых сторонников. Я их единственно представляю и одновременно единственно представляю наследия старого коменданта. Мне не приходится больше думать о дальнейшей разработке этих методов, я и так отдаю все силы, чтобы сохранить то, что осталось. Когда старый комендант был жив, поселение наполнилось его приверженцами; я частично обладаю силой убеждения старого коменданта, но его власти мне не хватает; вследствие этого все давешние приверженцы попрятались кто куда, их еще много, но никто не признается. Если, к примеру, сегодня, то есть в день казни, вы зайдете в нашу чайную и прислушаетесь там к разговорам, вы, наверное, услышите лишь двусмысленные высказывания. Это все приверженцы, но при нынешнем коменданте с его нынешними взглядами они для меня совершенно непригодны. А теперь я спрашиваю вас: разве такое гигантское творение – он показал на машину, – должно погибать из-за какого-то коменданта и его дамочек, под влиянием которых он находится? Разве это можно допустить? Даже если ты нездешний и приехал на наш остров всего на несколько дней? Однако времени терять больше нельзя, против моего судопроизводства что-то затевают, в комендатуре уже проводят совещания, к которым меня не привлекают; даже ваше сегодняшнее присутствие здесь кажется мне показательным для всей ситуации; они трусят и посылают вперед вас, приезжего. А какой была экзекуция в прежние времена! Уже за день до казни вся долина до отказа была забита людьми; все приходили только, чтобы посмотреть; рано утром являлся комендант со своими дамами; фанфары будили весь лагерь; я докладывал, что все готово; местное общество – ни один из высших чинов не должны был отсутствовать – распределялось вокруг машины; эта куча плетеных стульев – все, что осталось от той поры. Свежеевычищенная машина так и блестела, я почти к каждой экзекуции брал новые запасные части. Перед сотнями глаз – все зрители стояли на цыпочках отсюда и вон до тех холмов – комендант самолично клал осужденного под борону. То, что сегодня можно делать рядовому солдату, в то время было моей работой председателя суда и честью для меня. И вот начиналась сама казнь! Ни один лишний звук не нарушал работу машины. Некоторые из зрителей уже совсем не смотрели, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас вершится правосудие. В тишине были слышны лишь стоны осужденного, сдавливаемые кляпом. Сегодня машине больше не удастся выжать из осужденного стоны сильнее тех, которые в состоянии подавить кляп; раньше же пилющие иглы выделяли еще и едкую жидкость, которую сегодня больше не разрешается применять. Наконец наступал шестой час! Было невозможно удовлетворить просьбу всех придвинуться поближе к центру событий. Комендант благоразумно давал распоряжение учитывать в первую очередь детей; я, как вы понимаете, в силу своей должности всегда мог оставаться непосредственно у аппарата; зачастую я так и сидел там, на корточках, взяв в левую и правую руку по ребенку. Как мы все впитывали в себя с измученного лица это выражение просветления! Как мы подставляли свои щеки сиянию этой, наконец, установленной и уже покидающей нас справедливости! Какие это были времена, товарищ мой!

Офицер, видимо, забыл, кто перед ним стоял; он обнял путешественника и положил голову на его плечо. Путешественник был в сильном смущении, он нетерпеливо смотрел перед собой поверх офицера. Солдат закончил очищать аппарат и вываливал сейчас из жестяной банки в миску рисовую кашу. Едва лишь осужденный завидел это – похоже, он совсем уже пришел в себя, – как он начал хватать кашу языком. Солдат то и дело отталкивал его, поскольку каша предназначалась для более позднего времени, однако сам, что, конечно, тоже никуда не годилось, лез в нее своими грязными руками и еще до страждущего осужденного успевал ухватить там что-то для себя. Офицер быстро собрался.

— Я не хотел вас растрогать или что-нибудь в этом роде, – сказал он. – Я знаю, сегодня невозможно передать дух тех времен. Впрочем, машина еще работает и сама по себе впечатляет. Впечатляет, даже если и стоит одна в этой долине. И мертвое тело под конец все еще летит в яму в том непостижимо плавном полете, даже если вокруг ямы не собираются, как тогда, полчища мух. Тогда мы еще, помнится, обнесли яму крепкими перилами, их давно снесли.

Путешественник хотел отвести от офицера свое лицо и бесцельно смотрел то туда, то сюда. Офицер полагал, что он занят разглядыванием этой унылой долины, поэтому взял его за руки, стал вертеться вокруг него, чтобы поймать его взгляд, и спросил:

— Замечаете всю срамоту?

Но путешественник молчал. Офицер на время отпустил его; с широко расставленными ногами, уперев по бокам руки, он безмолвно стоял и глядел в землю. Потом он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:

— Вчера я был неподалеку от вас, когда комендант пригласил вас попристутствовать на казни. Я слышал, как он приглашал. Я-то знаю нашего коменданта. Я сразу понял, какую цель он преследует этим приглашением. Хотя он и обладает достаточной властью, чтобы выступить против меня, он еще на это не решается, однако, судя по всему, хочет подставить меня под удар вашего мнения – мнения авторитетного человека со стороны. Его расчет тонко продуман: вы всего второй день на острове, вы не были знакомы со старым комендантом, а также с кругом его мыслей, вы пристрастны в своих современных европейских воззрениях, возможно, вы принципиальный противник смертной казни в общем и такого вот механического способа экзекуции в частности, к тому же вы видите, что эта казнь совершается без привлечения общественности, в какой-то жалкой обстановке, с помощью уже поврежденной машины – принимая все это во внимание (так думает комендант), разве не очень вероятной делается возможность того, что вы сочтете мои судебные методы неправильными? И если вы сочтете их неправильными (я все еще говорю с позиции коменданта), вы же не будете молчать, ибо вы наверняка полагаетесь на свои проверенные долгим опытом убеждения. Правда, вы повидали много странных обычаев многих народов и научились относиться к ним с уважением, посему вы, скорее всего, не будете чересчур резко, отзываться о моих методах, как бы вы, наверное, сделали это у себя на родине. Но этого коменданту вовсе и не требуется. Мимолетно сказанного, просто неосторожного слова будет достаточно. И сказанное вами вовсе не должно перекликаться с вашими убеждениями, если оно уже одной своей видимостью пойдет навстречу его желанию. То, что он будет расспрашивать вас со всей хитростью, в этом я уверен. И его дамочки будут сидеть по кругу и наострять уши. Вы, предположим, скажете: «У нас судопроизводство другое», или: «У нас осужденного перед вынесением приговора сначала допрашивают», или: «У нас пытки применяли только в средневековье». Это все высказывания, которые в той же мере справедливы, в какой они представляются вам вполне естественными, невинные замечания, не затрагивающие принципов моего судопроизводства. Но как воспримет их комендант? Я так и вижу его перед собой, славного коменданта, как он тут же отодвигает в сторону стул и вылетает на балкон, я вижу его дамочек, как они разом устремляются за ним, слышу его голос – барышни называют его громовым, – голос, который говорит: «Крупный исследователь из Европы, уполномоченный проверить судебное производство во всех странах, только что сказал, что наш суд, основанный на старых традициях, является бесчеловечным. После этого заключения такого высокопоставленного лица терпеть нашу судебную практику мне, конечно, больше не представляется возможным. С сегодняшнего дня я приказываю...» и так далее. Вы хотите вмешаться, мол, вы сказали не то, о чем он возвещает, вы не называли мой суд бесчеловечным, наоборот, по вашему глубокому убеждению, вы находите его самым человеческим и самым человеческим, вы

осхищены также этим машинным подходом – однако все поздно; вам даже не удается выйти на балкон, который уже весь забит дамами; вы хотите как-то привлечь к себе внимание; вы хотите кричать, но какая-то дамская рука зажимает вам рот – и я, и творение старого коменданта пропали!

Путешественнику пришлось подавить улыбку; такой, значит, легкой была задача, которая казалась ему такой тяжелой. Он сказал уклончиво:

— Вы переоцениваете мое влияние. Комендант читал мое рекомендательное письмо, он знает, что я не являюсь знатоком судебных дел. Если бы я стал высказывать свое мнение, то это было бы мнение частного лица, ничуть не выше, чем мнение любого другого человека, и уж во всяком случае куда ниже, чем мнение коменданта, который, насколько мне известно, наделен в этом поселении весьма обширными правами. И если его мнение об этом судопроизводстве столь категорично, как вы полагаете, то тогда, боюсь, этому судопроизводству наступил конец и это отнюдь без моего скромного содействия.

Дошла ли суть сказанного до офицера? Нет, еще не дошла. Он резво качнул пару раз головой, коротко обернулся к осужденному и солдату, которые вздрогнули и перестали хватать рис, приблизился вплотную к путешественнику, остановил свой взгляд не на его лице, а где-то на его сюртуке и сказал тише прежнего:

— Вы не знаете коменданта; по сравнению с ним и всеми нами вы отличаетесь, простите мне это выражение, определенным простодушием. Ваше влияние трудно переоценить, поверьте. Я был вне себя от счастья, когда услышал, что только вы один должны присутствовать на казни. Это распоряжение коменданта было направлено точно против меня, но теперь я поверну его себе на пользу. Не подвергаясь воздействию ложных нащептываний и пренебрежительных взглядов, – чего нельзя, скажем, избежать при большом скоплении народа на экзекуции, – вы выслушали мои разъяснения, ознакомились с машиной и намерены сейчас проследить за ходом смертной казни. Мнение у вас наверняка уже сложилось, а если и остались еще какие-нибудь мелкие сомнения, то сам процесс экзекуции их устранил. И теперь я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне в этой войне с комендантом!

Путешественник не дал ему говорить дальше.

— Как же я смогу это сделать? – воскликнул он. – Это невозможно. Моя помощь может быть столь же мизерной, сколь и вред от меня.

— Нет вы можете помочь мне, – сказал офицер. С некоторым опасением путешественник смотрел за тем, как офицер сжал кулаки.

— Вы можете, – повторил офицер еще настоятельнее. – У меня есть план, который должен увенчаться успехом. Вы считаете, что вашего влияния недостаточно. Я же знаю, что его достаточно. Но допустим, вы и правы, однако разве тогда не нужно пытаться идти через все, даже, может быть, через непреодолимые препятствия, чтобы сохранить это судопроизводство? Выслушайте мой план. Для его осуществления прежде всего необходимо, чтобы вы, по возможности, воздержались сегодня в поселении от изложения вашего мнения относительно увиденного. Если вас не спросят напрямую, вам совсем не стоит высказываться; а если уж пришлось, то ваши высказывания должны быть короткими и неопределенными; пусть окружающие заметят, что вам тяжело говорить об этом подробнее, что вы крайне огорчены; что если вам вдруг придется говорить открыто, то вы разразитесь чуть ли не последними проклятиями. Я не требую от вас, чтобы вы лгали, ни в коем случае; вам следует отвечать лишь коротко, вроде: «да, я видел эту казнь», или «да, я прослушал все объяснения». Только это, ничего больше. А для огорчения, которое должно бросаться всем в глаза, поводов ведь предостаточно, даже если они и не в духе коменданта. Он, конечно, поймет это абсолютно превратно и будет толковать все по-своему. На этом-то и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое заседание всех высших административных чинов. Комендант хорошо научился делать из подобных заседаний публичное зрелище. По его распоряжению там была построена целая галерея, на которой всегда присутствуют зрители. Я вынужден на сей раз принять участие в совещании, но меня так и передергивает от отвращения. Вас в любом случае пригласят на заседание; и если вы будете вести себя сегодня в соответствии с моим планом, то это приглашение примет форму настоятельной просьбы. Если же вас по каким-то необъяснимым причинам все же не пригласят, то тогда вы, конечно, сами должны будете потребовать приглашение; в том, что вы его получите, я ничуть не сомневаюсь. И вот, значит, вы сидите завтра с дамами в ложе коменданта. Сам он частенько будет поглядывать наверх, чтобы быть уверенным в вашем присутствии. После ряда бессодержательных, смехотворных, рассчитанных только на публику протокольных вопросов – главным образом, это портовое строительство, одно лишь портовое строительство! – дело дойдет и до судебного производства. Если этот пункт не будет затронут комендантом или его рассмотрение будет оттягиваться им, то свое слово вставлю я. Я встану и отдам рапорт о сегодняшней экзекуции. Совсем коротко, лишь по самому факту. Хотя такие сообщения там и не приняты, я все равно его сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, приветливой улыбкой и вот – он не может сдержаться, он видит благоприятный момент. «Только что», – так или примерно так он будет говорить, – «мне был отдан рапорт о проведенной экзекуции. В дополнение к нему я хотел бы только добавить, что на этой экзекуции присутствовал крупный исследователь, о столь почетном пребывании которого в нашем поселении вы все знаете. И значение нашего сегодняшнего заседания усиливается благодаря его присутствию в этом зале. Не хотим ли мы сейчас обратиться к нашему гостю с вопросом относительно того, как он относится к этой старообрядной экзекуции и к судебным методам, предшествующим ей?» Конечно, кругом раздаются аплодисменты, всеобщее одобрение, я кричу и хлопаю громче всех. Комендант склоняется перед вами в поклоне и говорит: «Тогда от имени всех я задаю этот вопрос». И вот вы выходите к парапету, кладете на него руки так, что видно всем, иначе дамы будут дергать вас за пальцы... – Тут-то, наконец, и настает черед вашей речи. Не знаю, как я выдержу к тому времени напряжение гнетущих часов. В вашей речи вы не должны сдерживать себя ни в чем, дайте правде с шумом литься из вас, склонитесь через парапет, кричите во весь голос – а то как же? – кричите коменданту всю ваше мнение, ваше неоспоримое мнение. Но, может быть, вам это не подходит, это не соответствует вашему характеру, у вас на родине, быть может, в таких ситуациях ведут себя по-другому, и это тоже правильно, и этого тоже вполне хватит, тогда совсем не вставайте, скажите лишь пару слов, произнесите их шепотом, чтобы их только-только могли слышать чиновники, сидящие под вами, этого будет достаточно, вам совсем не надо говорить о неудовлетворительном зрительском интересе к казни, о скрипучей шестеренке, разорванном ремне, паршивом войлоке, нет, все остальное я возьму на себя и, поверьте мне, если мои слова не заставят коменданта выбежать из зала, то они принудят его встать на колени и признаться: старый комендант, пред тобой преклоняюсь! – Таков мой план. Вы хотите помочь мне осуществить его? Ну, конечно же вы хотите, даже более того – вы обязаны!

И офицер опять схватил путешественника за обе руки и, тяжело дыша, посмотрел ему в лицо. Последние фразы он говорил так громко,

что даже солдат и осужденный насторожились; хоть они и не могли ничего понять, они все же оставили свою еду и, жуя, взирали на путешественника. Ответ, который предстояло дать путешественнику, с самого начала не подлежал для него никакому сомнению; в своей жизни он собрал предостаточно опыта, чтобы вдруг пошатнуться здесь в своей позиции; в сущности он был честным человеком и не испытывал страха. Тем не менее сейчас он слегка медлил, глядя на солдата и осужденного. В конце концов он, однако, сказал то, что и должен был сказать:

— Нет.

Офицер моргнул несколько раз глазами, но не отвел от путешественника своего взгляда.

— Не угодно ли вам выслушать объяснение? – спросил путешественник. Офицер молча кивнул.

— Я противник этих судебных методов, – начал пояснять путешественник. – Еще до того как вы посвятили меня в свои тайны – я, естественно, ни при каких обстоятельствах не буду злоупотреблять вашим доверием, – я уже подумывал на тот счет, вправе ли я выступить против здешней судебной практики и будет ли мое выступление иметь хоть малейшую надежду на успех. К кому мне в этом случае сначала требовалось обратиться, было мне ясно: к коменданту, разумеется. А вы мне сделали эту цель еще более ясной, нельзя сказать, однако, чтобы это как-то укрепило меня в моем решении, напротив, вашу искреннюю убежденность я принимаю близко к сердцу, даже если она и не может свернуть меня с моего пути.

Офицер по-прежнему безмолвствовал; он повернулся к машине, взялся за один из медных стержней и, чуть отведя туловище назад, поглядывал вверх, на корпус чертежника, словно проверял, все ли было в порядке. Солдат и осужденный за это время, похоже, стали друзьями; осужденный делал солдату знаки, как ни трудно это было в его положении крепко привязанного человека, солдат наклонялся к нему, осужденный что-то ему нашептывал и солдат кивал головой. Путешественник приблизился к офицеру и сказал:

— Вы еще не знаете, что я хочу сделать. Я и вправду сообщу свое мнение об этом суде коменданту, но не на заседании в комендатуре, а с глазу на глаз; к тому же я не останусь здесь так долго, чтобы меня можно было привлечь к какому-нибудь заседанию; я уезжаю уже завтра утром или, по крайней мере, сажусь завтра на корабль.

Было не похоже, что офицер слушал его.

— Выходит, мои судебные методы вас не убедили, – процедил он и усмехнулся, как усмехается старик какому-нибудь дурачеству ребенка, прикрывая этой усмешкой свое собственное глубокое раздумье. – Значит, тогда пора, – сказал он наконец и взглянул вдруг на путешественника ясными глазами, в которых читалось какое-то воззвание, какой-то призыв к участию.

— Что пора? – спросил путешественник с беспокойством, но не получил ответа.

— Ты свободен, – сказал офицер осужденному на его языке. Тот сначала не поверил услышанному.

— Я говорю, ты свободен, – сказал офицер. Впервые лицо осужденного по-настоящему оживило. Что это было? Неужели правда? Или прихоть офицера, которая могла быстро улетучиться? Или это путешественник-чужестранец добился для него милости? В чем тут было дело? Такие вопросы, казалось, отражались на его лице. Но недолго. В чем бы там ни было дело, он действительно хотел быть свободным, если уж ему давали такую возможность, и он начал вырываться, насколько это допускала борона.

— Ты порвешь мне ремни! – закричал офицер. – Лежи тихо! Сейчас мы их расстегнем.

И дав солдату знак, он принялся с ним за работу. Осужденный только тихо посмеивался себе под нос и крутил лицом то влево, к офицеру, то вправо, к солдату, не забывая при этом и путешественника.

— Вытаскивай его, – приказал офицер солдату. Из-за близости бороны тут необходима была некоторая осторожность. Нетерпение осужденного уже привело к тому, что на его спине виднелось сейчас несколько маленьких рваных ран. С этой минуты офицер им больше почти не интересовался. Он подошел к путешественнику, снова вытаскил свою кожаную книжечку, полистал в ней, нашел, наконец, листок, который искал и показал его путешественнику.

— Читайте, – сказал он.

— Я же не могу, – сказал путешественник, – я уже говорил, что не могу читать эти листки.

— А вы всмотритесь повнимательнее, – сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним. Когда и это не помогло, он, чтобы облегчить путешественнику чтение, стал вести над бумагой мизинцем, на таком большом расстоянии, словно прикасаться к ней ни в какую не разрешалось. Путешественник старался на совесть, чтобы хотя бы в этом угодить офицеру, но все равно не мог ничего разобрать. Тогда офицер начал читать надпись по складам и затем произнес все целиком.

— «Будь справедлив!» – написано здесь, – сказал он. – Сейчас же вы видите.

Путешественник так низко склонился над бумагой, что офицер, опасаясь прикосновения, отодвинул ее подальше; и хотя путешественник сейчас ничего не говорил, было ясно, что он все еще никак не мог прочесть надпись.

— Здесь написано: «будь справедлив!», – сказал офицер еще раз.

— Может быть, – сказал путешественник. – Я верю вам, что это там написано.

— Ну, хорошо, – произнес офицер, удовлетворенный хотя бы частично, и залез с листком на лестницу. С большой осторожностью он

Равсправил листок в чертежнике и, как казалось, полностью переставил что-то в механизме шестеренок; это была весьма кропотливая работа, ему ведь, по-видимому, приходилось добираться и до совсем маленьких шестеренок; голова офицера порой целиком исчезала в нутре чертежника, так тщательно он вынужден был обследовать механизм. Путешественник, не отрываясь, наблюдал снизу за работой офицера; у него затекла шея и болели глаза от залитого солнечным светом неба. Солдата и осужденного уже нельзя было различить. Рубашку и штаны осужденного, которые до этого были брошены в яму, солдат вытащил из нее на кончике штыка. Рубашка была страшно грязной и осужденный отмывал ее в чане с водой. Когда он потом надел и рубашку и штаны, то разразился вместе с солдатом громким хохотом, потому как одежда ведь была разрезана сзади надвое. Быть может, осужденный думал, что он обязан развлекать солдата, он кружился перед ним в порезанной одежде, а тот сидел на корточках и, хохоча, хлопал себя ладонями по коленям. Все-таки они своевременно взяли себя в руки, вспомнив, что рядом еще находятся два господина. Когда офицер, наконец, разделался наверху с механизмом, он еще раз с улыбкой оглядел все часть за частью, закрыл теперь крышку чертежника, которая до этого была открыта, спустился вниз, посмотрел в яму и потом на осужденного, отметил с удовлетворением, что тот вытащил свою одежду, подошел вслед за этим к чану с водой, чтобы помыть руки, с опозданием заметил отвратительную грязь внутри, опечалился по поводу того, что не мог помыть сейчас рук, стал в итоге протирать их песком – это был слабый выход, но что ему еще оставалось делать, – затем поднялся и начал расстегивать свой китель. При этом ему в руки выпали два дамских платочка, которые он затолкал прежде за воротник.

— Вот тебе твои носовые платки, – сказал он и бросил их осужденному. Путешественнику же он пояснил: – Подарки от дам.

Невзирая на очевидную поспешность, с которой он снимал с себя китель и раздевался далее донага, он все же крайне аккуратно обращался с каждым предметом своей одежды, по серебряным аксельбантам своего военного мундира он даже специально провел несколько раз пальцами и заботливо вернул одну тесьму в нужное положение. Правда, с этой аккуратностью как-то мало вязалось то обстоятельство, что офицер, лишь только он заканчивал осмотр той или иной части, затем тотчас же кидал ее негодующим жестом в яму. Последним, что у него оставалось, была короткая шпага на пристяжном ремне. Он вытянул шпагу из ножен, сломал ее, собрал потом все вместе, куски шпаги, ножны и ремень, и отшвырнул их с такой силой, что внизу в яме звонко зазвенело. Теперь он стоял голый. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хотя он и знал, что сейчас произойдет, он был не вправе препятствовать офицеру в чем-либо. Если судебные методы, которые так любил офицер, в самом деле находились на грани устранения – возможно, вследствие вмешательства путешественника, к чему тот, со своей стороны, чувствовал себя обязанным, – то тогда офицер поступал абсолютно правильно; на его месте путешественник действовал бы не иначе. Солдат и осужденный сперва ничего не поняли, поначалу они даже и не смотрели в сторону офицера. Осужденный очень радовался тому, что получил назад носовые платки, однако радость его была недолгой, ибо солдат отобрал их у него зловонным, непредвиденным движением. Теперь уже осужденный пытался выхватить платки у солдата из-под ремня, за который тот их засунул, но солдат был бдителен. Так они, наполовину забавляясь, спорили друг с другом. Только когда офицер оказался полностью раздетым, они переключили на него свое внимание. Осужденный, похоже, был в особенной степени сражен предчувствием какого-то большого поворота. То, что произошло с ним, теперь происходило с офицером. Быть может, так дело дойдет до последней крайности. Наверное, путешественник-чужестранец отдал такой приказ. Вот, значит, она – месть. И хоть он сам отстрадал не до конца, он таки будет до конца отмщен. Широкая, немая улыбка появилась на его лице и больше с него не сходила. Офицер, однако, повернулся к машине. Если уже раньше стало ясно, что он был хорошо с ней знаком, то сейчас почти ошеломляющий эффект производило то, как он ей управлял и как она его слушалась. Он только приблизил руку к бороне, как та поднялась и опустилась несколько раз, пока не приняла нужного положения, чтобы встретить его; он только дотронулся до ложа с краю и оно уже начало вибрировать; войлочная болванка стала придвигаться к его рту, было видно, как офицер, по сути, желал от нее отстраниться, но замешательство длилось всего лишь мгновение, вот он уже смирился со своей участью и дал кляпу войти в рот. Все было готово, только ремни еще свисали по бокам, но, очевидно, в них не было необходимости, офицера не надо было пристегивать. Тут осужденный заметил болтающиеся ремни; на его взгляд, экзекуция была еще не совсем готова к проведению, если не были пристегнуты ремни; он живо кивнул солдату, и они побежали пристегивать офицера. Тот вытянул было одну ногу, чтобы толкнуть рукоять привода, запускавшую чертежник, как увидел, что двое уже стояли подле него, поэтому он убрал ногу и покорно дал себя пристегнуть. Теперь, правда, он не мог больше дотянуться до рукоятки; ни солдат, ни осужденный ее не найдут, а путешественник решил не двигаться с места. Но рукоять была и не нужна; едва только пристегнули ремни, как машина уже сама начала работать; ложе дрожало, иглы танцевали по коже, борона парила туда-сюда. Путешественник был так прикован к этому зрелищу, что не сразу вспомнил, что в чертежнике ведь должна была скрипеть одна шестеренка, но все было тихо, не было слышно ни малейшего шума. Из-за этого тихого хода машины внимание к ней форменным образом притупилось. Путешественник посмотрел туда, где были солдат и осужденный. Осужденный отличался большей живостью натуры, в машине его все интересовало, он то нагибался вниз, то вытягивался вверх, и непрерывно тыкал кругом указательным пальцем, чтобы показать что-то солдату. Путешественнику эта картина была неприятна. Он твердо решил оставаться здесь до конца, но этих двух он бы долго не вытерпел перед своими глазами.

— Ступайте домой! – сказал он. Солдат бы, может, на это и согласился, но осужденный расценил сей приказ прямо-таки как наказание. Молитвенно сложив руки, он стал заклинять путешественника оставить его здесь, и когда тот, качая головой, не хотел идти ни на какие уступки, осужденный даже встал на колени. Путешественник понял, что приказами здесь ничего не добиться, и хотел уже идти прогонять обоих. Вдруг он услышал наверху, в корпусе чертежника, какой-то шум. Он задрал голову. Значит, шестеренка все-таки пошаливала? Однако тут было что-то другое. Крышка чертежника медленно поднялась и затем полностью откинулась. В открывшемся отверстии показались и выступили вверх зубцы шестеренки, вскоре она вышла целиком; было такое впечатление, как будто какая-то могучая сила давила на чертежник со всех сторон так, что для этой шестеренки больше не оставалось места; она достигла края чертежника, стоймя упала вниз, прокатилась немного по песку и, свалившись на бок, затихла. Но вот наверху показалась еще одна, за ней последовало много других, больших, маленьких и едва различавшихся меж собой, со всеми происходило то же самое, и с каждым разом, когда возникала мысль, что чертежник-то сейчас уже должен быть пуст, из его недр вдруг появлялась новая, особенно многочисленная группа, поднималась вверх, падала, прокатывалась по песку и потом залегала. Под впечатлением такой картины осужденный и думать забыл о приказе путешественника, шестеренки заморозили его полностью, он то и дело хотел дотронуться до какой-нибудь из них, подбивая одновременно солдата помочь ему, но отдергивал в страхе руку, так как там катилась уже следующая шестеренка, пугавшая его по крайней мере своим первым приближением. Путешественник же был сильно обеспокоен; машина явно разваливалась на части; ее тихий ход был обманом; он почувствовал, что ему сейчас надо позаботиться об офицере, поскольку тот не мог больше действовать самостоятельно. Однако совершенно отвлеченный выпадением шестеренок, путешественник выпустил из виду остальные части машины; когда же он сейчас, после того как последняя шестеренка покинула нутро чертежника, наклонился над бороной, его взору предстал новый, еще более мрачный сюрприз. Борона не писала, а только колола, и ложе не раскачивало тело, а лишь короткими толчками насаживало

его на иглы. Путешественник хотел принять срочные меры, по возможности остановить всю эту карусель, ведь это же была не пытка, какой планировал ее офицер, это было самое настоящее убийство. Он вытянул руки. Но борона уже выдвинулась с наколотым на иглы телом в сторону, что она обычно проделывала лишь к двенадцатому часу. Кровь лилась сотнями ручьев, не смешиваясь с водой, – трубки подачи воды на сей раз тоже отказали. А теперь еще не работало и последнее: тело не слетало с длинных игл бороны, брызгало кровью, но висело над ямой и не падало. Борона уже собиралась было вернуться в прежнее положение, но, словно заметив сама, что еще не освободилась от своего груза, все-таки осталась висеть над ямой.

— Помогите же! – крикнул путешественник солдату и осужденному и взял офицера за ноги. Он хотел упереться в них, те двое должны были взяться с другой стороны за голову офицера, и таким образом его можно было медленно снять с игл. Однако ни тот, ни другой не решались сейчас приблизиться; осужденный в открытую отвернулся; путешественнику пришлось идти к ним и насильно заставлять их взять офицера за голову. При этом он почти против своей воли заглянул в его мертвое лицо. Оно было таким, каким оно было и при жизни; ни единого следа обещанного избавления нельзя было обнаружить на нем; то, что в объятиях этой машины нашли все остальные, офицер здесь не нашел; его губы были крепко сжаты, глаза были открыты, в них застыло выражение жизни, взгляд был спокойным и убежденным, изо рта торчало острие большого железного шипа.

Когда путешественник, преследуемый солдатом и осужденным, подходил к первым домам поселения, солдат показал на один из них и сказал:

— Это чайная.

Занимавшая первый этаж дома, чайная представляла собой низкое, уходящее далеко вглубь гротоподобное помещение, стены и потолок которого были желтыми от дыма. Стороной, выходящей на улицу, оно было открыто во всю длину. И хотя чайная мало отличалась от прочих домов поселения, которые, за исключением дворцовых построек коменданта, все имели весьма запущенный вид, она все же производила на путешественника впечатление некоего исторического памятника и он ощущал мощь былых времен. Он подошел к чайной, в сопровождении своих спутников прошел между незанятыми столиками, стоявшими перед ней на улице, и вдохнул прохладно-затхлый воздух, который шел изнутри.

— Тут похоронен старый комендант, – сказал солдат. – Священник не выделил ему места на кладбище. Некоторое время в поселении не могли решить, где его похоронить и в итоге похоронили здесь. Этого вам офицер наверняка не рассказывал, потому что этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже не раз пытался выкопать старика ночью, но его всегда прогоняли.

— И где же могила? – спросил путешественник, который не мог поверить солдату.

Тотчас оба, солдат и осужденный, выбежали вперед и вытянутыми руками показали туда, где находилась могила. Они подвели путешественника к задней стенке, где за несколькими столами сидели гости. По всей видимости, это были портовые рабочие, крепкие мужчины с короткими, блестящими черными бородами. Все были без курток, в изодранных сорочках, бедный, униженный народ. Когда путешественник приблизился к ним, некоторые из них встали, прижались к стене и косились на него оттуда. «Это чужеземец», – разнесся вокруг путешественника шепот, – «он хочет посмотреть могилу». Они отодвинули один из столов в сторону и под ним действительно обнаружилась могильная плита. Это была совсем обычная плита, достаточно низкая, чтобы ее можно было спрятать под столом. На ней очень мелко была сделана какая-то надпись, путешественнику пришлось опуститься на колени, чтобы прочесть ее. Надпись гласила: «Здесь покоится старый комендант. Его последователи, не имеющие сейчас имен, выкопали ему эту могилу и положили на нее камень. Существует пророчество, согласно которому комендант по истечении определенного количества лет воскреснет и поведет из этого дома своих приверженцев на новый захват поселения в свои руки. Веруйте и ждите!»

Когда путешественник прочитал это и поднялся, он увидел, что присутствующие стоят вокруг него и усмеваются, будто только что прочитали надпись вместе с ним, сочли ее смешной и приглашали его сейчас присоединиться к их мнению. Путешественник сделал вид, что не заметил этого, раздал несколько монет, подождал немного, пока стол не подвинули обратно на место, вышел из чайной и двинулся к порту.

Солдат и осужденный встретили в чайной знакомых, которые их задержали. Однако, должно быть, они довольно скоро вырвались от них, поскольку путешественник находился еще только на середине длинной лестницы, ведущей к лодкам, как они уже бежали за ним. Наверное, они в последний момент хотели заставить путешественника взять их с собой. В то время как путешественник договаривался с лодочником о переправе к пароходу, оба они неслись вниз по лестнице – молча, ибо не осмеливались кричать. Однако когда они были внизу, путешественник уже сидел в лодке и лодочник как раз отвязывал ее от причала. Они еще могли бы прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с ее днища тяжелый узел каната, пригрозил им и тем самым удержал их от прыжка.

Перевод А. Тарасова

1. DAS URTEIL. EINE GESCHICHTE

Es war an einem Sonntagvormittag im schönsten Fruhjahr. Georg Bendemann, ein junger Kaufmann, saß in seinem Privatzimmer im ersten Stock eines der niedrigen, leichtgebauten Hauser, die entlang des Flusses in einer langen Reihe, fast nur in der Hohe und Farbung unterschieden, sich hinzogen. Er hatte gerade einen Brief an einen sich im Ausland befindenden Jugendfreund beendet, verschloß ihn in spielerischer Langsamkeit und sah dann, den Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, aus dem Fenster auf den Fluß, die Brücke und die Anhöhen am anderen Ufer mit ihrem schwachen Grün.

Er dachte darüber nach, wie dieser Freund, mit seinem Fortkommen zu Hause unzufrieden, vor Jahren schon nach Rußland sich formlich geflüchtet hatte. Nun betrieb er ein Geschäft in Petersburg, das anfangs sich sehr gut angelassen hatte, seit langem aber schon zu stocken schien, wie der Freund bei seinen immer seltener werdenden Besuchen klagte. So arbeitete er sich in der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart verdeckte nur schlecht das seit den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht, dessen gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde Krankheit hinzudeuten schien. Wie er erzählte, hatte er keine rechte Verbindung mit der dortigen Kolonie seiner Landsleute, aber auch fast keinen gesellschaftlichen Verkehr mit einheimischen Familien und richtete sich so für ein endgültiges Jungesellentum ein.

Was wollte man einem solchen Manne schreiben, der sich offenbar verrannt hatte, den man bedauern, dem man aber nicht helfen konnte. Sollte man ihm vielleicht raten, wieder nach Hause zu kommen, seine Existenz hierher zu verlegen, alle die alten freundschaftlichen Beziehungen wieder aufzunehmen – wofür ja kein Hindernis bestand – und im übrigen auf die Hilfe der Freunde zu vertrauen? Das bedeutete aber nichts anderes, als daß man ihm gleichzeitig, je schonender, desto krankender, sagte, daß seine bisherigen Versuche mißlungen seien, daß er endlich von ihnen ablassen sollte, daß er zurückkehren und sich als ein für immer Zurückgekehrter von allen mit großen Augen anstaunen lassen müsse, daß nur seine Freunde etwas verstunden und daß er ein altes Kind sei und den erfolgreichen, zu Hause gebliebenen Freunden einfach zu folgen habe. Und war es dann noch sicher, daß alle die Plage, die man ihm antun mußte, einen Zweck hatte? Vielleicht gelang es nicht einmal, ihn überhaupt nach Hause zu bringen – er sagte ja selbst, daß er die Verhältnisse in der Heimat nicht mehr verstünde –, und so bliebe er dann trotz allem in seiner Fremde, verbittert durch die Ratschläge und den Freunden noch ein Stück mehr entfremdet. Folgte er aber wirklich dem Rat und wurde hier – natürlich nicht mit Absicht, aber durch die Tatsachen – niedergedrückt, fand sich nicht in seinen Freunden und nicht ohne sie zurecht, litte an Beschamung, hatte jetzt wirklich keine Heimat und keine Freunde mehr; war es da nicht viel besser für ihn, er blieb in der Fremde, so wie er war? Konnte man denn bei solchen Umständen daran denken, daß er es hier tatsächlich vorwärts bringen würde?

Aus diesen Gründen konnte man ihm, wenn man überhaupt noch die briefliche Verbindung aufrecht erhalten wollte, keine eigentlichen Mitteilungen machen, wie man sie ohne Scheu auch den entferntesten Bekannten geben würde. Der Freund war nun schon über drei Jahre nicht in der Heimat gewesen und erklärte dies sehr notdürftig mit der Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Rußland, die demnach also auch die kürzeste Abwesenheit eines kleinen Geschäftsmannes nicht zuließen, während hunderttausende Russen ruhig in der Welt herumfuhrten. Im Laufe dieser drei Jahre hatte sich aber gerade für Georg vieles verändert. Von dem Todesfall von Georgs Mutter, der vor etwa zwei Jahren erfolgt war und seit welchem Georg mit seinem alten Vater in gemeinsamer Wirtschaft lebte, hatte der Freund wohl noch erfahren und sein Beileid in einem Brief mit einer Trockenheit ausgedrückt, die ihren Grund nur darin haben konnte, daß die Trauer über ein solches Ereignis in der Fremde ganz unvorstellbar wird. Nun hatte aber Georg seit jener Zeit, so wie alles andere, auch sein Geschäft mit größerer Entschlossenheit angepackt. Vielleicht hatte ihn der Vater bei Lebzeiten der Mutter dadurch, daß er im Geschäft nur seine Ansicht gelten lassen wollte, an einer wirklichen eigenen Tätigkeit gehindert. Vielleicht war der Vater seit dem Tode der Mutter, trotzdem er noch immer im Geschäft arbeitete, zurückhaltender geworden, vielleicht spielten – was sogar sehr wahrscheinlich war – glückliche Zufälle eine weit wichtigere Rolle, jedenfalls aber hatte sich das Geschäft in diesen zwei Jahren ganz unerwartet entwickelt. Das Personal hatte man verdoppeln müssen, der Umsatz sich verfünffacht, ein weiterer Fortschritt stand zweifellos bevor.

Der Freund aber hatte keine Ahnung von dieser Veränderung. Früher, zum letztenmal vielleicht in jenem Beileidsbrief, hatte er Georg zur Auswanderung nach Rußland überreden wollen und sich über die Aussichten verbreitet, die gerade für Georgs Geschäftszweig in Petersburg bestanden. Die Ziffern waren verschwindend gegenüber dem Umfang, den Georgs Geschäft jetzt angenommen hatte. Georg aber hatte keine Lust gehabt, dem Freund von seinen geschäftlichen Erfolgen zu schreiben, und jetzt nachträglich hatte es wirklich einen merkwürdigen Anschein gehabt.

So beschränkte sich Georg darauf, dem Freund immer nur über bedeutungslose Vorfälle zu schreiben, wie sie sich, wenn man an einem ruhigen Sonntag nachdenkt, in der Erinnerung ungeordnet aufhäufen. Er wollte nichts anderes, als die Vorstellung ungestört lassen, die sich der Freund von der Heimatstadt in der langen Zwischenzeit wohl gemacht und mit welcher er sich abgefunden hatte. So geschah es Georg, daß er dem Freund die Verlobung eines gleichgültigen Menschen mit einem ebenso gleichgültigen Mädchen dreimal in ziemlich weit auseinanderliegenden Briefen anzeigte, bis sich dann allerdings der Freund, ganz gegen Georgs Absicht, für diese Merkwürdigkeit zu interessieren begann.

Georg schrieb ihm aber solche Dinge viel lieber, als daß er zugestanden hatte, daß er selbst vor einem Monat mit einem Fraulein Frieda Brandenfeld, einem Mädchen aus wohlhabender Familie, sich verlobt hatte. Oft sprach er mit seiner Braut über diesen Freund und das besondere Korrespondenzverhältnis, in welchem er zu ihm stand. "Er wird also gar nicht zu unserer Hochzeit kommen", sagte sie, "und ich habe doch das Recht, alle deine Freunde kennenzulernen." "Ich will ihn nicht storen", antwortete Georg, "verstehe mich recht, er würde wahrscheinlich kommen, wenigstens glaube ich es, aber er würde sich gezwungen und geschädigt fühlen, vielleicht mich beneiden und sicher unzufrieden und unfähig, diese Unzufriedenheit jemals zu beseitigen, allein wieder zurückfahren. Allein – weißt du, was das ist?" "Ja, kann er denn von unserer Heirat nicht auch auf andere Weise erfahren?" "Das kann ich allerdings nicht verhindern, aber es ist bei seiner Lebensweise unwahrscheinlich." "Wenn du solche Freunde hast, Georg, hattest du dich überhaupt nicht verloben sollen." "Ja, das ist unser beider Schuld; aber ich wollte es auch jetzt nicht anders haben." Und wenn sie dann, rasch atmend unter seinen Küssen, noch vorbrachte: "Eigentlich krankt es mich doch", hielt er es wirklich für unverfänglich, dem Freund alles zu schreiben. "So bin ich und so hat er mich hinzunehmen", sagte er sich, "ich kann nicht aus mir einen Menschen herauschneiden, der vielleicht für die Freundschaft mit ihm geeigneter wäre, als ich es bin."

Und tatsächlich berichtete er seinem Freunde in dem langen Brief, den er an diesem Sonntagvormittag schrieb, die erfolgte Verlobung mit folgenden Worten: "Die beste Neuigkeit habe ich mir bis zum Schluß aufgespart. Ich habe mich mit einem Fraulein Frieda Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer wohlhabenden Familie, die sich hier erst lange nach Deiner Abreise angesiedelt hat, die Du also kaum kennen darfst."

Es wird sich noch Gelegenheiten finden, Dir Naheres über meine Braut mitzuteilen, heute genue Dir, da? ich recht glueklich bin und da? sich in unserem gegenseitigen Verhaeltnis nur insofern etwas geaendert hat, als Du jetzt in mir statt eines ganz gewoehnlichen Freundes einen glueklichen Freund haben wirst. Au?erdem bekommst Du in meiner Braut, die Dich herzlich gru?en la?t, und die Dir nachstens selbst schreiben wird, eine aufrichtige Freundin, was fuur einen Junggesellen nicht ganz ohne Bedeutung ist. Ich wei?, es halt Dich vielerlei von einem Besuche bei uns zurueck. Ware aber nicht gerade meine Hochzeit die richtige Gelegenheit, einmal alle Hindernisse ueber den Haufen zu werfen? Aber wie dies auch sein mag, handle ohne alle Rucksicht und nur nach Deiner Wohlmeinung. “

Mit diesem Brief in der Hand war Georg lange, das Gesicht dem Fenster zugekehrt, an seinem Schreibtisch gesessen. Einem Bekannten, der ihn im Voruebergehen von der Gasse aus gegru?t hatte, hatte er kaum mit einem abwesenden Lacheln geantwortet.

Endlich steckte er den Brief in die Tasche und ging aus seinem Zimmer quer durch einen kleinen Gang in das Zimmer seines Vaters, in dem er schon seit Monaten nicht gewesen war. Es bestand auch sonst keine Noetigung dazu, denn er verkehrte mit seinem Vater standig im Geschaft. Das Mittagessen nahmen sie gleichzeitig in einem Speisehaus ein, abends versorgte sich zwar jeder nach Belieben; doch sa?en sie dann noch ein Weilchen, meistens jeder mit seiner Zeitung, im gemeinsamen Wohnzimmer, wenn nicht Georg, wie es am haeufigsten geschah, mit Freunden beisammen war oder jetzt seine Braut besuchte.

Georg staunte darueber, wie dunkel das Zimmer des Vaters selbst an diesem sonnigen Vormittag war. Einen solchen Schatten warf also die hohe Mauer, die sich jenseits des schmalen Hofes erhob. Der Vater sa? beim Fenster in einer Ecke, die mit verschiedenen Andenken an die selige Mutter ausgeschmuickt war, und las die Zeitung, die er seitlich vor die Augen hielt, wodurch er irgend eine Augenschwache auszugleichen suchte. Auf dem Tisch standen die Reste des Fruhstuecks, von dem nicht viel verzehrt zu sein schien.

“Ah, Georg!” sagte der Vater und ging ihm gleich entgegen. Sein schwerer Schlafrock offnete sich im Gehen, die Enden umflatterten ihn – “mein Vater ist noch immer ein Riese”, dachte sich Georg.

“Hier ist es ja unertraeglich dunkel”, sagte er dann.

“Ja, dunkel ist es schon”, antwortete der Vater.

“Das Fenster hast du auch geschlossen?”

“Ich habe es lieber so. “

“Es ist ja ganz warm drau?en”, sagte Georg, wie im Nachhang zu dem Fruheren, und setzte sich.

Der Vater raumte das Fruhstuecksgeschirr ab und stellte es auf einen Kasten.

“Ich wollte dir eigentlich nur sagen”, fuhr Georg fort, der den Bewegungen des alten Mannes ganz verloren folgte, “da? ich nun doch nach Petersburg meine Verlobung angezeigt habe. ” Er zog den Brief ein wenig aus der Tasche und lie? ihn wieder zurueckfallen.

“Nach Petersburg?” fragte der Vater.

“Meinem Freunde doch”, sagte Georg und suchte des Vaters Augen. – “Im Geschaft ist er doch ganz anders”, dachte er, “wie er hier breit sitzt und die Arme ueber der Brust kreuzt. “

“Ja. Deinem Freunde”, sagte der Vater mit Betonung.

“Du wei?t doch, Vater, da? ich ihm meine Verlobung zuerst verschweigen wollte. Aus Rucksichtnahme, aus keinem anderen Grunde sonst. Du wei?t selbst, er ist ein schwieriger Mensch. Ich sagte mir, von anderer Seite kann er von meiner Verlobung wohl erfahren, wenn das auch bei seiner einsamen Lebensweise kaum wahrscheinlich ist – das kann ich nicht hindern –, aber von mir selbst soll er es nun einmal nicht erfahren. “

“Und jetzt hast du es dir wieder anders ueberlegt?” fragte der Vater, legte die gro?e Zeitung auf den Fensterbord und auf die Zeitung die Brille, die er mit der Hand bedeckte.

“Ja, jetzt habe ich es mir wieder ueberlegt. Wenn er mein guter Freund ist, sagte ich mir, dann ist meine gluekliche Verlobung auch fuur ihn ein Glueck. Und deshalb habe ich nicht mehr gezogert, es ihm anzuzeigen. Ehe ich jedoch den Brief einwarf, wollte ich es dir sagen. “

“Georg”, sagte der Vater und zog den zahnlosen Mund in die Breite, “hor’ einmal! Du bist wegen dieser Sache zu mir gekommen, um dich mit mir zu beraten. Das ehrt dich ohne Zweifel. Aber es ist nichts, es ist arger als nichts, wenn du mir jetzt nicht die volle Wahrheit sagst. Ich will nicht Dinge aufruehren, die nicht hierher gehoeren. Seit dem Tode unserer teuren Mutter sind gewisse unschone Dinge vorgegangen. Vielleicht kommt auch fuur sie die Zeit und vielleicht kommt sie fruher, als wir denken. Im Geschaft entgeht mir manches, es wird mir vielleicht nicht verborgen – ich will jetzt gar nicht die Annahme machen, da? es mir verborgen wird –, ich bin nicht mehr kraeftig genug, mein Gedachtnis la?t nach. Ich habe nicht mehr den Blick fuur alle die vielen Sachen. Das ist erstens der Ablauf der Natur, und zweitens hat mich der Tod unseres Mutterchens viel mehr niedergeschlagen als dich. – Aber weil wir gerade bei dieser Sache sind, bei diesem Brief, so bitte ich dich Georg, tausche mich nicht. Es ist eine Kleinigkeit, es ist nicht des Atems wert, also tausche mich nicht. Hast du wirklich diesen Freund in Petersburg?”

Georg stand verlegen auf. “Lassen wir meine Freunde sein. Tausend Freunde ersetzen mir nicht meinen Vater. Wei?t du, was ich glaube? Du schonst dich nicht genug. Aber das Alter verlangt seine Rechte. Du bist mir im Geschaft unentbehrlich, das wei?t du ja sehr genau; aber wenn das Geschaft deine Gesundheit bedrohen sollte, sperre ich es noch morgen fuur immer. Das geht nicht. Wir muessen da eine andere Lebensweise fuur dich einfuehren. Aber von Grund aus. Du sitzt hier im Dunkel, und im Wohnzimmer hattest du schones Licht. Du nippst vom Fruhstueck, statt dich ordentlich zu starken. Du sitzt bei geschlossenem Fenster, und die Luft wurde dir so gut tun. Nein Vater! Ich werde den Arzt holen und seine Vorschriften werden wir befolgen. Die Zimmer werden wir wechseln, du wirst ins Vorderzimmer ziehen, ich hierher. Es wird keine Veranderung fuur dich sein, alles wird mit hinuebergetragen. Aber das alles hat Zeit, jetzt lege dich noch ein wenig ins Bett, du brauchst unbedingt Ruhe. Komm, ich

werde dir beim Ausziehen helfen, du wirst stehen, ich kann es. Oder willst du gleich ins Vorderzimmer gehn, dann legst du dich vorläufig in mein Bett. Das wäre übrigens sehr vernünftig. “

Georg stand knapp neben seinem Vater, der den Kopf mit dem struppigen weißen Haar auf die Brust hatte sinken lassen.

“Georg”, sagte der Vater leise, ohne Bewegung.

Georg kniete sofort neben dem Vater nieder, er sah die Pupillen in dem müden Gesicht des Vaters übergroß in den Winkeln der Augen auf sich gerichtet.

“Du hast keinen Freund in Petersburg. Du bist immer ein Spätmacher gewesen und hast dich auch mir gegenüber nicht zurückgehalten. Wie solltest du denn gerade dort einen Freund haben! Das kann ich gar nicht glauben. “

“Denk doch noch einmal nach, Vater”, sagte Georg, hob den Vater vom Sessel und zog ihm, wie er nun doch recht schwach dastand, den Schlafrock aus, “jetzt wird es bald drei Jahre her sein, da war ja mein Freund bei uns zu Besuch. Ich erinnere mich noch, daß du ihn nicht besonders gern hattest. Wenigstens zweimal habe ich ihn vor dir verleugnet, trotzdem er gerade bei mir im Zimmer saß. Ich konnte ja deine Abneigung gegen ihn ganz gut verstehen, mein Freund hat seine Eigentümlichkeiten. Aber dann hast du dich doch auch wieder ganz gut mit ihm unterhalten. Ich war damals noch so stolz darauf, daß du ihm zuhörtest, nicktest und fragtest. Wenn du nachdenkst, müßt du dich erinnern. Er erzählte damals unglaubliche Geschichten von der russischen Revolution. Wie er z. B. auf einer Geschäftsreise in Kiew bei einem Tumult einen Geistlichen auf einem Balkon gesehen hatte, der sich ein breites Blutkreuz in die flache Hand schnitt, diese Hand erhob und die Menge anrief. Du hast ja selbst diese Geschichte hier und da wiedererzählt. “

Währenddessen war es Georg gelungen, den Vater wieder niederzusetzen und ihm die Trikotose, die er über den Leinenunterhosen trug, sowie die Socken vorsichtig auszuziehen. Beim Anblick der nicht besonders reinen Wasche machte er sich Vorwürfe, den Vater vernachlässigt zu haben. Es wäre sicherlich auch seine Pflicht gewesen, über den Waschewechsel seines Vaters zu wachen. Er hatte mit seiner Braut darüber noch nicht ausdrücklich gesprochen, wie sie die Zukunft des Vaters einrichten wollten, aber sie hatten stillschweigend vorausgesetzt, daß der Vater allein in der alten Wohnung bleiben würde. Doch jetzt entschloß er sich kurz mit aller Bestimmtheit, den Vater in seinen künftigen Haushalt mitzunehmen. Es schien ja fast, wenn man genauer zusah, daß die Pflege, die dort dem Vater bereitet werden sollte, zu spät kommen konnte.

Auf seinen Armen trug er den Vater ins Bett. Ein schreckliches Gefühl hatte er, als er während der paar Schritte zum Bett hin merkte, daß an seiner Brust der Vater mit seiner Uhrkette spielte. Er konnte ihn nicht gleich ins Bett legen, so fest hielt er sich an dieser Uhrkette.

Kaum war er aber im Bett, schien alles gut. Er deckte sich selbst zu und zog dann die Bettdecke noch besonders weit über die Schulter. Er sah nicht unfreundlich zu Georg hinauf.

“Nicht wahr, du erinnerst dich schon an ihn?” fragte Georg und nickte ihm aufmunternd zu.

“Bin ich jetzt gut zugedeckt?” fragte der Vater, als könne er nicht nachschauen, ob die Füße genug bedeckt seien.

“Es gefällt dir also schon im Bett”, sagte Georg und legte das Deckzeug besser um ihn.

“Bin ich gut zugedeckt?” fragte der Vater noch einmal und schien auf die Antwort besonders aufzupassen.

“Sei nur ruhig, du bist gut zugedeckt. “

“Nein! ” rief der Vater, daß die Antwort an die Frage stieß, warf die Decke zurück mit einer Kraft, daß sie einen Augenblick im Fluge sich ganz entfaltete, und stand aufrecht im Bett. Nur eine Hand hielt er leicht an den Plafond. “Du wolltest mich zudecken, das weiß ich, mein Fruchtlein, aber zugedeckt bin ich noch nicht. Und ist es auch die letzte Kraft, genug für dich, zuviel für dich! Wohl kenne ich deinen Freund. Er wäre ein Sohn nach meinem Herzen. Darum hast du ihn auch betrogen die ganzen Jahre lang. Warum sonst? Glaubst du, ich habe nicht um ihn geweint? Darum doch sperrst du dich in dein Bureau, niemand soll storen, der Chef ist beschäftigt – nur damit du deine falschen Briefchen nach Rußland schreiben kannst. Aber den Vater müß glücklicherweise niemand lehren, den Sohn zu durchschauen. Wie du jetzt geglaubt hast, du hattest ihn untergekrigt, so untergekrigt, daß du dich mit deinem Hintern auf ihn setzen kannst und er ruht sich nicht, da hat sich mein Herr Sohn zum Heiraten entschlossen! “

Georg sah zum Schreckbild seines Vaters auf. Der Petersburger Freund, den der Vater plötzlich so gut kannte, ergriff ihn, wie noch nie. Verloren im weiten Rußland sah er ihn. An der Türe des leeren, ausgeraubten Geschäftes sah er ihn. Zwischen den Trümmern der Regale, den zerfetzten Waren, den fallenden Gasarmen stand er gerade noch. Warum hatte er so weit wegfahren müssen!

“Aber schau mich an! ” rief der Vater, und Georg lief, fast zerstreut, zum Bett, um alles zu fassen, stockte aber in der Mitte des Weges.

“Weil sie die Rocke gehoben hat”, fing der Vater zu floten an, “weil sie die Rocke so gehoben hat, die widerliche Gans”, und er hob, um das darzustellen, sein Hemd so hoch, daß man auf seinem Oberschenkel die Narbe aus seinen Kriegsjahren sah, “weil sie die Rocke so und so und so gehoben hat, hast du dich an sie herangemacht, und damit du an ihr ohne Störung dich befriedigen kannst, hast du unserer Mutter Andenken geschändet, den Freund verraten und deinen Vater ins Bett gesteckt, damit er sich nicht rühren kann. Aber kann er sich rühren oder nicht? “

Und er stand vollkommen frei und warf die Beine. Er strahlte vor Einsicht.

Georg stand in einem Winkel, möglichst weit vom Vater. Vor einer langen Weile hatte er sich fest entschlossen, alles vollkommen genau zu beobachten, damit er nicht irgendwie auf Umwegen, von hinten her, von oben herab überrascht werden könne. Jetzt erinnerte er sich wieder an den längst vergessenen Entschluß und vergaß ihn, wie man einen kurzen Faden durch ein Nadelohr zieht.

“Aber der Freund ist nun doch nicht verraten! ” rief der Vater, und sein hin-und herbewegter Zeigefinger bekräftigte es. “Ich war sein Vertreter hier

am Ort.“

“Komodiant! ” konnte sich Georg zu rufen nicht enthalten, erkannte sofort den Schaden und bi?, nur zu spat, – die Augen erstarrt – in seine Zunge, da? er vor Schmerz einknickte.

“Ja, freilich habe ich Komodie gespielt! Komodie! Gutes Wort! Welcher andere Trost blieb dem alten verwitweten Vater? Sag – und fur den Augenblick der Antwort sei du noch mein lebender Sohn –, was blieb mir ubrig, in meinem Hinterzimmer, verfolgt vom ungetreuen Personal, alt bis in die Knochen? Und mein Sohn ging im Jubel durch die Welt, schlo? Geschafte ab, die ich vorbereitet hatte, uberpurzelte sich vor Vergnugen und ging vor seinem Vater mit dem verschlossenen Gesicht eines Ehrenmannes davon! Glaubst du, ich hatte dich nicht geliebt, ich, von dem du ausgingst?”

“Jetzt wird er sich vorbeugen”, dachte Georg, “wenn er fiele und zerschmetterte!” Dieses Wort durchzischte seinen Kopf.

Der Vater beugte sich vor, fiel aber nicht. Da Georg sich nicht naherte, wie er erwartet hatte, erhob er sich wieder.

“Bleib, wo du bist, ich brauche dich nicht! Du denkst, du hast noch die Kraft, hierher zu kommen und haltst dich blo? zuruck, weil du so willst. Da? du dich nicht irrst! Ich bin noch immer der viel Starkere. Allein hatte ich vielleicht zuruckweichen müssen, aber so hat mir die Mutter ihre Kraft abgegeben, mit deinem Freund habe ich mich herrlich verbunden, deine Kundschaft habe ich hier in der Tasche! “

“Sogar im Hemd hat er Taschen!” sagte sich Georg und glaubte, er konnte ihn mit dieser Bemerkung in der ganzen Welt unmöglich machen. Nur einen Augenblick dachte er das, denn immerfort verga? er alles.

“Hang dich nur in deine Braut ein und komm mir entgegen! Ich fege sie dir von der Seite weg, du wei?t nicht wie! “

Georg machte Grimassen, als glaube er das nicht. Der Vater nickte blo?, die Wahrheit dessen betuernd, was er sagte, in Georgs Ecke hin.

“Wie hast du mich doch heute unterhalten, als du kamst und fragtest, ob du deinem Freund von der Verlobung schreiben sollst. Er wei? doch alles, dummer Junge, er wei? doch alles! Ich schrieb ihm doch, weil du vergessen hast, mir das Schreibzeug wegzunehmen. Darum kommt er schon seit Jahren nicht, er wei? ja alles hundertmal besser als du selbst. Deine Briefe zerknullt er ungelesen in der linken Hand, wahrend er in der Rechten meine Briefe zum Lesen sich vorhalt! “

Seinen Arm schwang er vor Begeisterung uber dem Kopf. “Er wei? alles tausendmal besser! ” rief er.

“Zehntausendmal!” sagte Georg, um den Vater zu verlachen, aber noch in seinem Munde bekam das Wort einen totensten Klang.

“Seit Jahren passe ich schon auf, da? du mit dieser Frage kamest! Glaubst du, mich kummert etwas anderes? Glaubst du, ich lese Zeitungen? Da? ” und er warf Georg ein Zeitungsblatt, das irgendwie mit ins Bett getragen worden war, zu. Eine alte Zeitung, mit einem Georg schon ganz unbekannt Namen.

“Wie lange hast du gezogert, ehe du reif geworden bist! Die Mutter mu?te sterben, sie konnte den Freudentag nicht erleben, der Freund geht zugrunde in seinem Ru?land, schon vor drei Jahren war er gelb zum Wegwerfen, und ich, du siehst ja, wie es mit mir steht. Dafur hast du doch Augen! “

“Du hast mir also aufgelauert! ” rief Georg.

Mitleidig sagte der Vater nebenbei: “Das wolltest du wahrscheinlich fruher sagen. Jetzt pa?t es ja gar nicht mehr. “

Und lauter: “Jetzt wei?t du also, was es noch au?er dir gab, bisher wu?test du nur von dir! Ein unschuldiges Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch! – Und darum wisse: Ich verurteile dich jetzt zum Tode des Ertrinkens! “

Georg fuhlte sich aus dem Zimmer gejagt, den Schlag, mit dem der Vater hinter ihm aufs Bett sturzte, trug er noch in den Ohren davon. Auf der Treppe, uber deren Stufen er wie uber eine schiefe Flache eilte, uberrumpelte er seine Bedienerin, die im Begriffe war heraufzugehen, um die Wohnung nach der Nacht aufzuraumen. “Jesus! ” rief sie und verdeckte mit der Schurze das Gesicht, aber er war schon davon. Aus dem Tor sprang er, uber die Fahrbahn zum Wasser trieb es ihn. Schon hielt er das Gelander fest, wie ein Hungeriger die Nahrung. Er schwang sich uber, als der ausgezeichnete Turner, der er in seinen Jugendjahren zum Stolz seiner Eltern gewesen war. Noch hielt er sich mit schwacher werdenden Handen fest, erspahte zwischen den Gelanderstangen einen Autoomnibus, der mit Leichtigkeit seinen Fall ubertonen wurde, rief leise: “Liebe Eltern, ich habe euch doch immer geliebt”, und lie? sich hinabfallen.

In diesem Augenblick ging uber die Brucke ein geradezu unendlicher Verkehr.

2. DIE VERWANDLUNG

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Traumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rucken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewolbten, braunen, von bogenformigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Hohe sich die Bettdecke, zum ganzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang klaglich dunnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.

“Was ist mit mir geschehen?” dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekanntesten Wanden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war – Samsa war Reisender –, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hubschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die, mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasa? und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob.

Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trube Wetter – man horte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen – machte ihn ganz melancholisch. “Wie ware es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten verga?e”, dachte er, aber das war ganzlich undurchfuhrbar, denn er war gewohnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwartigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Ruckenlage zuruck. Er versuchte es wohl hundertmal, schlo? die Augen, um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen, und lie? erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefuhten, leichten, dumpfen Schmerz zu fuhlen begann.

“Ach Gott”, dachte er, “was fur einen anstrengenden Beruf habe ich gewahlt! Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschaftlichen Aufregungen sind viel gro?er, als im eigentlichen Geschäft zu Hause, und au?erdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen um die Zuganschlusse, das unregelma?ige, schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen!” Er fuhte ein leichtes Jucken oben auf dem Bauch; schob sich auf dem Rucken langsam naher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu konnen; fand die juckende Stelle, die mit lauter kleinen wei?en Punktchen besetzt war, die er nicht zu beurteilen verstand; und wollte mit einem Bein die Stelle betasten, zog es aber gleich zuruck, denn bei der Beruhrung umwehten ihn Kaltieschauer.

Er glitt wieder in seine fruhere Lage zuruck. “Dies fruzeitige Aufstehen”, dachte er, “macht einen ganz blodsinnig. Der Mensch mu? seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zuruckgehe, um die erlangten Auftrage zu uberschreiben, sitzen diese Herren erst beim Fruhstuck. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen; ich wurde auf der Stelle hinausfliegen. Wer wei? ubrigens, ob das nicht sehr gut fur mich ware. Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zuruckhielte, ich hatte langst gekündigt, ich ware vor den Chef hin getreten und hatte ihm meine Meinung von Grund des Herzens aus gesagt. Vom Pult hatte er fallen müssen! Es ist auch eine sonderbare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Hohe herab mit dem Angestellten zu reden, der uberdies wegen der Schwerhorigkeit des Chefs ganz nahe herantreten mu?. Nun, die Hoffnung ist noch nicht ganzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld beisammen, um die Schuld der Eltern an ihn abzahlten – es durfte noch funf bis sechs Jahre dauern –, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der gro?e Schnitt gemacht. Vorlaufig allerdings mu? ich aufstehen, denn mein Zug fuhr um funf.”

Und er sah zur Weckuhr hinuber, die auf dem Kasten tickte. “Himmlicher Vater!” dachte er. Es war halb sieben Uhr, und die Zeiger gingen ruhig vorwarts, es war sogar halb voruber, es naherte sich schon dreiviertel. Sollte der Wecker nicht gelautet haben? Man sah vom Bett aus, da? er auf vier Uhr richtig eingestellt war; gewi? hatte er auch gelautet. Ja, aber war es moglich, dieses mobelerschutternde Lauten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte er jetzt tun? Der nachste Zug ging um sieben Uhr; um den einzuholen, hatte er sich unsinnig beeilen müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und er selbst fuhte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschafstdiener hatte beim Funfuhrzug gewartet und die Meldung von seiner Versaumnis langst erstattet. Es war eine Kreatur des Chefs, ohne Ruckgrat und Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das ware aber au?erst peinlich und verdachtig, denn Gregor war wahrend seines funfjahrigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. Gewi? wurde der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, wurde den Eltern wegen des faulen Sohnes Vorwurfe machen und alle Einwande durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, fur den es ja uberhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und hatte er ubrigens in diesem Falle so ganz unrecht? Gregor fuhte sich tatsachlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich ubflussigen Schlaftrigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen besonders kraftigen Hunger.

Als er dies alles in gro?ter Eile uberlegte, ohne sich entschlie?en zu konnen, das Bett zu verlassen – gerade schlug der Wecker dreiviertel sieben – klopfte es vorsichtig an die Tur am Kopfende seines Bettes. “Gregor”, rief es – es war die Mutter –, “es ist dreiviertel sieben. Wolltest du nicht wegfahren?” Die sanfte Stimme! Gregor erschrak, als er seine antwortende Stimme horte, die wohl unverkennbar seine fruhere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdruckendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die Worte formlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit belie?, um sie im Nachklang derart zu zerstoren, da? man nicht wu?te, ob man recht gehort hatte. Gregor hatte ausfuhrlich antworten und alles erklaren wollen, beschrankte sich aber bei diesen Umstanden darauf, zu sagen: “Ja, ja, danke Mutter, ich stehe schon auf.” Infolge der Holztur war die Veranderung in Gregors Stimme drau?en wohl nicht zu merken, denn die Mutter beruhigte sich mit dieser Erklarung und schlurfte davon. Aber durch das kleine Gespräch waren die anderen Familienmitglieder darauf aufmerksam geworden, da? Gregor wider Erwarten noch zu Hause war, und schon klopfte an der einen Seitentur der Vater, schwach, aber mit der Faust. “Gregor, Gregor”, rief er, “was ist denn?” Und nach einer kleinen Weile mahnte er nochmals mit tieferer Stimme: “Gregor! Gregor!” An der anderen Seitentur aber klagte leise die Schwester: “Gregor? Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?” Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor: “Bin schon fertig”, und bemuhte sich, durch die sorgfaltigste Aussprache und durch Einschaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme alles Auffallende zu nehmen. Der Vater kehrte auch zu seinem Fruhstuck zuruck, die Schwester aber flusterte: “Gregor, mach auf, ich beschwore dich.” Gregor aber dachte gar nicht daran aufzumachen, sondern lobte die vom Reisen her ubernommene Vorsicht, auch zu Hause alle Turen wahrend der Nacht zu versperren.

Zunachst wollte er ruhig und ungestort aufstehen, sich anziehen und vor allem fruhestucken, und dann erst das Weitere uberlegen, denn, das merkte er wohl, im Bett wurde er mit dem Nachdenken zu keinem vernunftigen Ende kommen. Er erinnerte sich, schon ofters im Bett irgendeinen vielleicht durch ungeschicktes Liegen erzeugten, leichten Schmerz empfunden zu haben, der sich dann beim Aufstehen als reine Einbildung herausstellte, und er war gespannt, wie sich seine heutigen Vorstellungen allmahlich auflösen würden. Da? die Veranderung der Stimme nichts anderes war, als der Vorbote einer tuchtigen Verkuhlung, einer Berufskrankheit der Reisenden, daran zweifelte er nicht im geringsten.

Die Decke abzuwerfen war ganz einfach; er brauchte sich nur ein wenig aufzublauen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wurde es schwierig, besonders weil er so ungemein breit war. Er hatte Arme und Hände gebraucht, um sich aufzurichten; statt dessen aber hatte er nur die vielen Beinchen, die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und die er überdies nicht beherrschen konnte. Wollte er eines einmal einknicken, so war es das erste, da? es sich streckte; und gelang es ihm endlich, mit diesem Bein das auszuführen, was er wollte, so arbeiteten inzwischen alle anderen, wie freigelassen, in hochster, schmerzlicher Aufregung. "Nur sich nicht im Bett unnutz aufhalten", sagte sich Gregor.

Zuerst wollte er mit dem unteren Teil seines Körpers aus dem Bett herauskommen, aber dieser untere Teil, den er übrigens noch nicht gesehen hatte und von dem er sich auch keine rechte Vorstellung machen konnte, erwies sich als zu schwer beweglich; es ging so langsam; und als er schließlich, fast wild geworden, mit gesammelter Kraft, ohne Rücksicht sich vorwärtsstieß, hatte er die Richtung falsch gewählt, schlug an den unteren Bettpfosten heftig an, und der brennende Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, da? gerade der untere Teil seines Körpers augenblicklich vielleicht der empfindlichste war.

Er versuchte es daher, zuerst den Oberkörper aus dem Bett zu bekommen, und drehte vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. Dies gelang auch leicht, und trotz ihrer Breite und Schwere folgte schließlich die Körpermasse langsam der Wendung des Kopfes. Aber als er den Kopf endlich außerhalb des Bettes in der freien Luft hielt, bekam er Angst, weiter auf diese Weise vorzurücken, denn wenn er sich schließlich so fallen lie?, mu?te geradezu ein Wunder geschehen, wenn der Kopf nicht verletzt werden sollte. Und die Besinnung durfte er gerade jetzt um keinen Preis verlieren; lieber wollte er im Bett bleiben.

Aber als er wieder nach gleicher Mühe aufsteigend so dalag wie früher, und wieder seine Beinchen womöglich noch arger gegeneinander kämpfen sah und keine Möglichkeit fand, in diese Willkür Ruhe und Ordnung zu bringen, sagte er sich wieder, da? er unmöglich im Bett bleiben könne und da? es das Vernünftigste sei, alles zu opfern, wenn auch nur die kleinste Hoffnung bestünde, sich dadurch vom Bett zu befreien. Gleichzeitig aber verga? er nicht, sich zwischendurch daran zu erinnern, da? viel besser als verzweifelte Entschlüsse ruhige und ruhigste Überlegung sei. In solchen Augenblicken richtete er die Augen möglichst scharf auf das Fenster, aber leider war aus dem Anblick des Morgennebels, der sogar die andere Seite der engen Straße verhüllte, wenig Zuversicht und Munterkeit zu holen. "Schon sieben Uhr", sagte er sich beim neuerlichen Schlagen des Weckers, "schon sieben Uhr und noch immer ein solcher Nebel." Und ein Weilchen lang lag er ruhig mit schwachem Atem, als erwarte er vielleicht von der vollen Stille die Wiederkehr der wirklichen und selbstverständlichen Verhältnisse.

Dann aber sagte er sich: "Ehe es einviertel acht schlägt, mu? ich unbedingt das Bett vollständig verlassen haben. Im übrigen wird auch bis dahin jemand aus dem Geschäft kommen, um nach mir zu fragen, denn das Geschäft wird vor sieben Uhr geöffnet." Und er machte sich nun daran, den Körper in seiner ganzen Länge vollständig gleichmäßig aus dem Bett hinauszuschaukeln. Wenn er sich auf diese Weise aus dem Bett fallen lie?, blieb der Kopf, den er beim Fall scharf heben wollte, voraussichtlich unverletzt. Der Rücken schien hart zu sein; dem würde wohl bei dem Fall auf den Teppich nichts geschehen. Das größte Bedenken machte ihm die Rücksicht auf den lauten Krach, den es geben mu?te und der wahrscheinlich hinter allen Türen wenn nicht Schrecken, so doch Besorgnisse erregen würde. Das mu?te aber gewagt werden.

Als Gregor schon zur Hälfte aus dem Bette ragte – die neue Methode war mehr ein Spiel als eine Anstrengung, er brauchte immer nur ruckweise zu Schaukeln –, fiel ihm ein, wie einfach alles wäre, wenn man ihm zu Hilfe käme. Zwei starke Leute – er dachte an seinen Vater und das Dienstmädchen – hatten vollständig genügt; sie hatten ihre Arme nur unter seinen gewölbten Rücken schieben, ihn so aus dem Bett schalen, sich mit der Last niederbeugen und dann blo? vorsichtig dulden müssen, da? er den Überschwing auf dem Fußboden vollzog, wo dann die Beinchen hoffentlich einen Sinn bekommen würden. Nun, ganz abgesehen davon, da? die Türen versperrt waren, hatte er wirklich um Hilfe rufen sollen? Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken.

Schon war er so weit, da? er bei stärkerem Schaukeln kaum das Gleichgewicht noch erhielt, und sehr bald mu?te er sich nun endgültig entscheiden, denn es war in fünf Minuten einviertel acht, – als es an der Wohnungstür lautete. "Das ist jemand aus dem Geschäft", sagte er sich und erstarrte fast, während seine Beinchen nur desto eiliger tanzten. Einen Augenblick blieb alles still. "Sie öffnen nicht", sagte sich Gregor, befangen in irgendeiner unsinnigen Hoffnung. Aber dann ging natürlich wie immer das Dienstmädchen festen Schrittes zur Tür und öffnete. Gregor brauchte nur das erste Grußwort des Besuchers zu hören und wu?te schon, wer es war – der Prokurist selbst. Warum war nur Gregor dazu verurteilt, bei einer Firma zu dienen, wo man bei der kleinsten Versäumnis gleich den größten Verdacht fa?te? Waren denn alle Angestellten samt und sonders Lumpen, gab es denn unter ihnen keinen treuen ergebenen Menschen, der, wenn er auch nur ein paar Morgenstunden für das Geschäft nicht ausgenutzt hatte, vor Gewissensbissen narrisch wurde und geradezu nicht imstande war, das Bett zu verlassen? Genugte es wirklich nicht, einen Lehrlingen nachfragen zu lassen – wenn überhaupt diese Fragerei nötig war –, mu?te da der Prokurist selbst kommen, und mu?te dadurch der ganzen unschuldigen Familie gezeigt werden, da? die Untersuchung dieser verdächtigen Angelegenheit nur dem Verstand des Prokuristen anvertraut werden konnte? Und mehr infolge der Erregung, in welche Gregor durch diese Überlegungen versetzt wurde, als infolge eines richtigen Entschlusses, schwang er sich mit aller Macht aus dem Bett. Es gab einen lauten Schlag, aber ein eigentlicher Krach war es nicht. Ein wenig wurde der Fall durch den Teppich abgeschwächt, auch war der Rücken elastischer, als Gregor gedacht hatte, daher kam der nicht gar so auffallende dumpfe Klang. Nur den Kopf hatte er nicht vorsichtig genug gehalten und ihn angeschlagen; er drehte ihn und rieb ihn an dem Teppich vor Ärger und Schmerz.

"Da drin ist etwas gefallen", sagte der Prokurist im Nebenzimmer links. Gregor suchte sich vorzustellen, ob nicht auch einmal dem Prokuristen etwas Ähnliches passieren konnte, wie heute ihm; die Möglichkeit dessen mu?te man doch eigentlich zugeben. Aber wie zur rohen Antwort auf diese Frage machte jetzt der Prokurist im Nebenzimmer ein paar bestimmte Schritte und ließ seine Lackstiefel knarren. Aus dem Nebenzimmer rechts flüsterte die Schwester, um Gregor zu verständigen: "Gregor, der Prokurist ist da." "Ich wei?", sagte Gregor vor sich hin; aber so laut, da? es die Schwester hatte hören können, wagte er die Stimme nicht zu erheben.

"Gregor", sagte nun der Vater aus dem Nebenzimmer links, "der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühzug weggefahren bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will er auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte mach die Tür auf. Er wird die Unordnung im Zimmer zu entschuldigen schon die Güte haben." "Guten Morgen, Herr Samsa", rief der Prokurist freundlich dazwischen. "Ihm ist nicht wohl", sagte die Mutter zum Prokuristen, während der Vater noch an der Tür redete, "ihm ist nicht wohl, glauben Sie mir, Herr Prokurist. Wie wurde denn Gregor sonst einen Zug versäumen! Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft. Ich ärgere mich schon fast, da? er abends niemals ausgeht; jetzt war er doch acht Tage in der Stadt, aber jeden Abend war er zu Hause. Da sitzt er bei uns am Tisch und liest still die Zeitung oder studiert Fahrpläne. Es ist schon eine Zerstreuung für ihn, wenn er sich mit Laubsagearbeiten beschäftigt. Da hat er zum Beispiel

Im Laufe von zwei, drei Abenden einen kleinen Rahmen geschnitzt; Sie werden staunen, wie hübsch er ist; er hängt drin im Zimmer; Sie werden ihn gleich sehen, bis Gregor aufmacht. Ich bin übrigens glücklich, daß Sie da sind, Herr Prokurist; wir allein hatten Gregor nicht dazu gebracht, die Tür zu öffnen; er ist so hartnäckig; und bestimmt ist ihm nicht wohl, trotzdem er es am Morgen geleugnet hat.“ „Ich komme gleich“, sagte Gregor langsam und bedächtig und ruhte sich nicht, um kein Wort der Gespräche zu verlieren. „Anders, gnädige Frau, kann ich es mir auch nicht erklären“, sagte der Prokurist, „hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andererseits sagen muß, daß wir Geschäftsleute – wie man will, leider oder glücklicherweise – ein leichtes Unwohlsein sehr oft aus geschäftlichen Rücksichten einfach überwinden müssen.“ „Also kann der Herr Prokurist schon zu dir hinein?“ fragte der ungeduldige Vater und klopfte wiederum an die Tür. „Nein“, sagte Gregor. Im Nebenzimmer links trat eine peinliche Stille ein, im Nebenzimmer rechts begann die Schwester zu schluchzen.

Warum ging denn die Schwester nicht zu den anderen? Sie war wohl erst jetzt aus dem Bett aufgestanden und hatte noch gar nicht angefangen sich anzuziehen. Und warum weinte sie denn? Weil er nicht aufstand und den Prokuristen nicht hereinließ, weil er in Gefahr war, den Posten zu verlieren und weil dann der Chef die Eltern mit den alten Forderungen wieder verfolgen würde? Das waren doch vorläufig wohl unnötige Sorgen. Noch war Gregor hier und dachte nicht im geringsten daran, seine Familie zu verlassen. Augenblicklich lag er wohl da auf dem Teppich, und niemand, der seinen Zustand gekannt hatte, hatte im Ernst von ihm verlangt, daß er den Prokuristen hereinlasse. Aber wegen dieser kleinen Unhöflichkeit, für die sich ja später leicht eine passende Ausrede finden würde, konnte Gregor doch nicht gut sofort weggeschickt werden. Und Gregor schien es, daß es viel vernünftiger wäre, ihn jetzt in Ruhe zu lassen, statt ihn mit Weinen und Zureden zu storen. Aber es war eben die Ungewißheit, welche die anderen bedrangte und ihr Benehmen entschuldigte.

„Herr Samsa“, rief nun der Prokurist mit erhobener Stimme, „was ist denn los? Sie verbarrikadieren sich da in Ihrem Zimmer, antworten bloß mit ja und nein, machen Ihren Eltern schwere, unnötige Sorgen und versäumen – dies nur nebenbei erwähnt – Ihre geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich unerhörten Weise. Ich spreche hier im Namen Ihrer Eltern und Ihres Chefs und bitte Sie ganz ernsthaft um eine augenblickliche, deutliche Erklärung. Ich staune, ich staune. Ich glaubte Sie als einen ruhigen, vernünftigen Menschen zu kennen, und nun scheinen Sie plötzlich anfangen zu wollen, mit sonderbaren Launen zu paradieren. Der Chef deutete mir zwar heute früh eine mögliche Erklärung für Ihre Versäumnis an – sie betraf das Ihnen seit kurzem anvertraute Inkasso –, aber ich legte wahrhaftig fast mein Ehrenwort dafür ein, daß diese Erklärung nicht zutreffen könne. Nun aber sehe ich hier Ihren unbegreiflichen Starrsinn und verliere ganz und gar jede Lust, mich auch nur im geringsten für Sie einzusetzen. Und Ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Ich hatte ursprünglich die Absicht, Ihnen das alles unter vier Augen zu sagen, aber da Sie mich hier nutzlos meine Zeit versäumen lassen, weiß ich nicht, warum es nicht auch Ihre Herren Eltern erfahren sollen. Ihre Leistungen in der letzten Zeit waren also sehr unbefriedigend; es ist zwar nicht die Jahreszeit, um besondere Geschäfte zu machen, das erkennen wir an; aber eine Jahreszeit, um keine Geschäfte zu machen, gibt es überhaupt nicht, Herr Samsa, darf es nicht geben.“

„Aber Herr Prokurist“, rief Gregor auf, er sich und vergaß in der Aufregung alles andere, „ich mache ja sofort, augenblicklich auf. Ein leichtes Unwohlsein, ein Schwindelanfall, haben mich verhindert aufzustehen. Ich liege noch jetzt im Bett. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz frisch. Eben steige ich aus dem Bett. Nur einen kleinen Augenblick Geduld! Es geht noch nicht so gut, wie ich dachte. Es ist mir aber schon wohl. Wie das nur einem Menschen so überfallen kann! Noch gestern Abend war mir ganz gut, meine Eltern wissen es ja, oder besser, schon gestern Abend hatte ich eine kleine Vorahnung. Man hatte es mir ansehen müssen. Warum habe ich es nur im Geschäft nicht gemeldet! Aber man denkt eben immer, daß man die Krankheit ohne Zuhausebleiben übersteht. Herr Prokurist! Schonen Sie meine Eltern! Für alle die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund; man hat mir ja davon auch kein Wort gesagt. Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, die ich geschickt habe, nicht gelesen. Übrigens, noch mit dem Achtuhrzug fahre ich auf die Reise, die paar Stunden Ruhe haben mich gekräftigt. Halten Sie sich nur nicht auf, Herr Prokurist; ich bin gleich selbst im Geschäft, und haben Sie die Güte, das zu sagen und mich dem Herrn Chef zu empfehlen!“

Und während Gregor dies alles hastig ausstieß und kaum wußte, was er sprach, hatte er sich leicht, wohl infolge der im Bett bereits erlangten Übung, dem Kasten genähert und versuchte nun, an ihm sich aufzurichten. Er wollte tatsächlich die Tür aufmachen, tatsächlich sich sehen lassen und mit dem Prokuristen sprechen; er war begierig zu erfahren, was die anderen, die jetzt so nach ihm verlangten, bei seinem Anblick sagen würden. Würden sie erschrecken, dann hatte Gregor keine Verantwortung mehr und konnte ruhig sein. Würden sie aber alles ruhig hinnehmen, dann hatte auch er keinen Grund sich aufzuregen, und konnte, wenn er sich beeilte, um acht Uhr tatsächlich auf dem Bahnhof sein. Zuerst glitt er nun einigemal von dem glatten Kasten ab, aber endlich gab er sich einen letzten Schwung und stand aufrecht da; auf die Schmerzen im Unterleib achtete er gar nicht mehr, so sehr sie auch brannten. Nun ließ er sich gegen die Rückenlehne eines nahen Stuhles fallen, an deren Randern er sich mit seinen Beinchen festhielt. Damit hatte er aber auch die Herrschaft über sich erlangt und verstummte, denn nun konnte er den Prokuristen anhören.

„Haben Sie auch nur ein Wort verstanden?“ fragte der Prokurist die Eltern, „er macht sich doch wohl nicht einen Narren aus uns?“ „Um Gottes willen“, rief die Mutter schon unter Weinen, „er ist vielleicht schwer krank, und wir qualen ihn. Grete! Grete!“ schrie sie dann. „Mutter?“ rief die Schwester von der anderen Seite. Sie verständigten sich durch Gregors Zimmer. „Du mußt augenblicklich zum Arzt. Gregor ist krank. Rasch um den Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören?“ „Das war eine Tierstimme“, sagte der Prokurist, auffallend leise gegenüber dem Schreien der Mutter. „Anna! Anna!“ rief der Vater durch das Vorzimmer in die Küche und klatschte in die Hände, „sofort einen Schlosser holen!“ Und schon liefen die zwei Mädchen mit rauschenden Rocken durch das Vorzimmer – wie hatte sich die Schwester denn so schnell angezogen? – und rissen die Wohnungstüre auf. Man hörte gar nicht die Türe zuschlagen; sie hatten sie wohl offen gelassen, wie es in Wohnungen zu sein pflegt, in denen ein großes Unglück geschehen ist.

Gregor war aber viel ruhiger geworden. Man verstand zwar also seine Worte nicht mehr, trotzdem sie ihm genug klar, klarer als früher, vorgekommen waren, vielleicht infolge der Gewöhnung des Ohres. Aber immerhin glaubte man nun schon daran, daß es mit ihm nicht ganz in Ordnung war, und war bereit, ihm zu helfen. Die Zuversicht und Sicherheit, mit welchen die ersten Anordnungen getroffen worden waren, taten ihm wohl. Er fühlte sich wieder einbezogen in den menschlichen Kreis und erhoffte von beiden, vom Arzt und vom Schlosser, ohne sie eigentlich genau zu scheiden, große und überraschende Leistungen. Um für die sich nähernden entscheidenden Besprechungen eine möglichst klare Stimme zu bekommen, hustete er ein wenig ab, allerdings bemüht, dies ganz gedämpft zu tun, da möglicherweise auch schon dieses Geräusch anders als menschlicher Husten klang, was er selbst zu entscheiden sich nicht mehr getraute. Im Nebenzimmer war es inzwischen ganz still geworden. Vielleicht saßen die Eltern mit dem Prokuristen beim Tisch und tuschelten, vielleicht lehnten alle an der Türe und horchten.

Gregor schob sich langsam mit dem Sessel zur Tür hin, ließ ihn dort los, warf sich gegen die Tür, hielt sich an ihr aufrecht – die Ballen seiner Beinchen hatten ein wenig Klebstoff – und ruhte sich dort einen Augenblick lang von der Anstrengung aus. Dann aber machte er sich daran, mit

dem Mund den Schlüssel im Schloß zu drehen. Es schien leider, als hätte er keine eigentlichen Zähne hatte, – womit sollte er gleich den Schlüssel fassen? – aber dafür waren die Kiefer freilich sehr stark; mit ihrer Hilfe brachte er auch wirklich den Schlüssel in Bewegung und achtete nicht darauf, daß er sich zweifellos irgendeinen Schaden zufügte, denn eine braune Flüssigkeit kam ihm aus dem Mund, floß über den Schlüssel und tropfte auf den Boden. „Hören Sie nur“, sagte der Prokurist im Nebenzimmer, „er dreht den Schlüssel um.“ Das war für Gregor eine große Aufmunterung; aber alle hatten ihm zurufen sollen, auch der Vater und die Mutter: „Frisch, Gregor“, hatten sie rufen sollen, „immer nur heran, fest an das Schloß heran!“ Und in der Vorstellung, daß alle seine Bemühungen mit Spannung verfolgten, verbiß er sich mit allem, was er an Kraft aufbringen konnte, besinnungslos in den Schlüssel. Je nach dem Fortschreiten der Drehung des Schlüssels umtanzte er das Schloß; hielt sich jetzt nur noch mit dem Munde aufrecht, und je nach Bedarf hing er sich an den Schlüssel oder drückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers. Der hellere Klang des endlich zurückschnappenden Schlosses erweckte Gregor formlich. Aufatmend sagte er sich: „Ich habe also den Schlosser nicht gebraucht“, und legte den Kopf auf die Klinke, um die Türe gänzlich zu öffnen.

Da er die Türe auf diese Weise öffnen mußte, war sie eigentlich schon recht weit geöffnet, und er selbst noch nicht zu sehen. Er mußte sich erst langsam um den einen Türflügel herumdrehen, und zwar sehr vorsichtig, wenn er nicht gerade vor dem Eintritt ins Zimmer plump auf den Rücken fallen wollte. Er war noch mit jener schwierigen Bewegung beschäftigt und hatte nicht Zeit, auf anderes zu achten, da hörte er schon den Prokuristen ein lautes „Oh!“ ausstoßen – es klang, wie wenn der Wind saust – und nun sah er ihn auch, wie er, der der Nächste an der Türe war, die Hand gegen den offenen Mund drückte und langsam zurückwich, als vertreibe ihn eine unsichtbare, gleichmäßig fortwirkende Kraft. Die Mutter – sie stand hier trotz der Anwesenheit des Prokuristen mit von der Nacht her noch aufgelosten, hoch sich sträubenden Haaren – sah zuerst mit gefalteten Händen den Vater an, ging dann zwei Schritte zu Gregor hin und fiel inmitten ihrer rings um sie herum sich ausbreitenden Rocke nieder, das Gesicht ganz unauffindbar zu ihrer Brust gesenkt. Der Vater ballte mit feindseligem Ausdruck die Faust, als wolle er Gregor in sein Zimmer zurückstoßen, sah sich dann unsicher im Wohnzimmer um, beschattete dann mit den Händen die Augen und weinte, daß sich seine mächtige Brust schüttelte.

Gregor trat nun gar nicht in das Zimmer, sondern lehnte sich von innen an den festgeriegelten Türflügel, so daß sein Leib nur zur Hälfte und darüber der seitlich geneigte Kopf zu sehen war, mit dem er zu den anderen hinüberlugte. Es war inzwischen viel heller geworden; klar stand auf der anderen Straßenseite ein Ausschnitt des gegenüberliegenden, endlosen, grauschwarzen Hauses – es war ein Krankenhaus – mit seinen hart die Front durchbrechenden regelmäßigen Fenstern; der Regen fiel noch nieder, aber nur mit großen, einzeln sichtbaren und formlich auch einzelnweise auf die Erde hinuntergeworfenen Tropfen. Das Frühstücksgeschirr stand in überreicher Zahl auf dem Tisch, denn für den Vater war das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages, die er bei der Lektüre verschiedener Zeitungen stundenlang hinzog. Gerade an der gegenüber liegenden Wand hing eine Photographie Gregors aus seiner Militärszeit, die ihn als Leutnant darstellte, wie er, die Hand am Degen, sorglos lachend, Respekt für seine Haltung und Uniform verlangte. Die Tür zum Vorzimmer war geöffnet, und man sah, daß auch die Wohnungstür offen war, auf den Vorplatz der Wohnung hinaus und auf den Beginn der abwärts führenden Treppe.

„Nun“, sagte Gregor und war sich dessen wohl bewußt, daß er der einzige war, der die Ruhe bewahrt hatte, „ich werde mich gleich anziehen, die Kollektion zusammenpacken und wegfahren. Wollt Ihr, wollt Ihr mich wegfahren lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starrköpfig und ich arbeite gern; das Reisen ist beschwerlich, aber ich konnte ohne das Reisen nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist ins Geschäft? Da? Werden Sie alles wahrheitsgetreu berichten? Man kann im Augenblick unfähig sein zu arbeiten, aber dann ist gerade der richtige Zeitpunkt, sich an die früheren Leistungen zu erinnern und zu bedenken, daß man später, nach Beseitigung des Hindernisses, gewiß desto fleißiger und gesammelter arbeiten wird. Ich bin ja dem Herrn Chef so sehr verpflichtet, das wissen Sie doch recht gut. Andererseits habe ich die Sorge um meine Eltern und die Schwester. Ich bin in der Klemme, ich werde mich aber auch wieder herausarbeiten. Machen Sie es mir aber nicht schwieriger, als es schon ist. Halten Sie im Geschäft meine Partei! Man liebt den Reisenden nicht, ich weiß. Man denkt, er verdient ein Heidengeld und führt dabei ein schönes Leben. Man hat eben keine besondere Veranlassung, dieses Vorurteil besser zu durchdenken. Sie aber, Herr Prokurist, Sie haben einen besseren Überblick über die Verhältnisse, als das sonstige Personal, ja sogar, ganz im Vertrauen gesagt, einen besseren Überblick, als der Herr Chef selbst, der in seiner Eigenschaft als Unternehmer sich in seinem Urteil leicht zu Ungunsten eines Angestellten beirren läßt. Sie wissen auch sehr wohl, daß der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des Geschäftes ist, so leicht ein Opfer von Klatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, da er von ihnen meistens gar nichts erfährt und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise beendet hat, zu Hause die schlimmen, auf ihre Ursachen hin nicht mehr zu durchschauenden Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Herr Prokurist, gehen Sie nicht weg, ohne mir ein Wort gesagt zu haben, das mir zeigt, daß Sie mir wenigstens zu einem kleinen Teil recht geben! <<

Aber der Prokurist hatte sich schon bei den ersten Worten Gregors abgewendet, und nur über die zuckende Schulter hinweg sah er mit aufgeworfenen Lippen nach Gregor zurück. Und während Gregors Rede stand er keinen Augenblick still, sondern verzog sich, ohne Gregor aus den Augen zu lassen, gegen die Tür, aber ganz allmählich, als bestünde ein geheimes Verbot, das Zimmer zu verlassen. Schon war er im Vorzimmer, und nach der plötzlichen Bewegung, mit der er zum letztenmal den Fuß aus dem Wohnzimmer zog, hatte man glauben können, er habe sich soeben die Sohle verbrannt. Im Vorzimmer aber streckte er die rechte Hand weit von sich zur Treppe hin, als warte dort auf ihn eine geradezu überirdische Erlösung.

Gregor sah ein, daß er den Prokuristen in dieser Stimmung auf keinen Fall weggehen lassen dürfe, wenn dadurch seine Stellung im Geschäft nicht auf der ersten gefährdet werden sollte. Die Eltern verstanden das alles nicht so gut; sie hatten sich in den langen Jahren die Überzeugung gebildet, daß Gregor in diesem Geschäft für sein Leben versorgt war, und hatten außerdem jetzt mit den augenblicklichen Sorgen so viel zu tun, daß ihnen jede Voraussicht abhanden gekommen war. Aber Gregor hatte diese Voraussicht. Der Prokurist mußte gehalten, beruhigt, überzeugt und schließlich gewonnen werden; die Zukunft Gregors und seiner Familie hing doch davon ab! Ware doch die Schwester hier gewesen! Sie war klug; sie hatte schon geweint, als Gregor noch ruhig auf dem Rücken lag. Und gewiß hatte der Prokurist, dieser Damenfreund, sich von ihr lenken lassen; sie hatte die Wohnungstür zugemacht und ihm im Vorzimmer den Schrecken ausgedrückt. Aber die Schwester war eben nicht da, Gregor selbst mußte handeln. Und ohne daran zu denken, daß er seine gegenwärtigen Fähigkeiten, sich zu bewegen, noch gar nicht kannte, ohne auch daran zu denken, daß seine Rede möglicherweise ja wahrscheinlicher wieder nicht verstanden worden war, verließ er den Türflügel; schob sich durch die Öffnung; wollte zum Prokuristen hingehen, der sich schon am Geländer des Vorplatzes lacherlicherweise mit beiden Händen festhielt; fiel aber sofort, nach einem Halt suchend, mit einem kleinen Schrei auf seine vielen Beinchen nieder. Kaum war das geschehen, fühlte er zum erstenmal an diesem Morgen ein körperliches Wohlbehagen; die Beinchen hatten festen Boden unter sich; sie gehorchten vollkommen, wie er zu seiner Freude merkte; strebten sogar darnach, ihn fortzutragen, wohin er wollte; und schon glaubte er, die endgültige Besserung alles Leidens stehe unmittelbar bevor. Aber im gleichen Augenblick, als er da schaukelnd vor verhaltener Bewegung, gar nicht weit von seiner Mutter entfernt, ihr gerade

gegenüber auf dem Boden lag, sprang diese, die doch so ganz in sich versunken schien, mit einemmale in die Höhe, die Arme weit ausgestreckt, die Finger gespreizt, rief: "Hilfe, um Gottes willen Hilfe! ", hielt den Kopf geneigt, als wolle sie Gregor besser sehen, lief aber, im Widerspruch dazu, sinnlos zurück; hatte vergessen, daß hinter ihr der gedeckte Tisch stand; setzte sich, als sie bei ihm angekommen war, wie in Zerstretheit, eilig auf ihn; und schien gar nicht zu merken, daß neben ihr aus der umgeworfenen großen Kanne der Kaffee in vollem Strome auf den Teppich sich ergoß.

"Mutter, Mutter", sagte Gregor leise, und sah zu ihr hinauf. Der Prokurist war ihm für einen Augenblick ganz aus dem Sinn gekommen; dagegen konnte er sich nicht versagen, im Anblick des fliehenden Kaffees mehrmals mit den Kiefern ins Leere zu schnappen. Darüber schrie die Mutter neuerdings auf, fluchtete vom Tisch und fiel dem ihr entgegeneilenden Vater in die Arme. Aber Gregor hatte jetzt keine Zeit für seine Eltern; der Prokurist war schon auf der Treppe; das Kinn auf dem Geländer, sah er noch zum letzten Male zurück. Gregor nahm einen Anlauf, um ihn möglichst sicher einzuholen; der Prokurist mußte etwas ahnen, denn er machte einen Sprung über mehrere Stufen und verschwand; "Huh!" aber schrie er noch, es klang durchs ganze Treppenhaus. Leider schien nun auch diese Flucht des Prokuristen den Vater, der bisher verhältnismäßig gefaßt gewesen war, völlig zu verwirren, denn statt selbst dem Prokuristen nachzulaufen oder wenigstens Gregor in der Verfolgung nicht zu hindern, packte er mit der Rechten den Stock des Prokuristen, den dieser mit Hut und Überzieher auf einem Sessel zurückgelassen hatte, holte mit der Linken eine große Zeitung vom Tisch und machte sich unter Fußstempfen daran, Gregor durch Schwenken des Stockes und der Zeitung in sein Zimmer zurückzutreiben. Kein Bitten Gregors half, kein Bitten wurde auch verstanden, er mochte den Kopf noch so demütig drehen, der Vater stampfte nur stärker mit den Füßen. Drüben hatte die Mutter trotz des kühlen Wetters ein Fenster aufgerissen, und hinausgelehnt drückte sie ihr Gesicht weit außerhalb des Fensters in ihre Hände. Zwischen Gasse und Treppenhaus entstand eine starke Zugluft, die Fenstervorhänge flogen auf, die Zeitungen auf dem Tische rauschten, einzelne Blätter wehten über den Boden hin. Unerbittlich drangte der Vater und stieß Zischlaute aus, wie ein Wilder. Nun hatte aber Gregor noch gar keine Übung im Rückwärtsgehen, es ging wirklich sehr langsam. Wenn sich Gregor nur hätte umdrehen dürfen, er wäre gleich in seinem Zimmer gewesen, aber er fürchtete sich, den Vater durch die zeitraubende Umdrehung ungeduldig zu machen, und jeden Augenblick drohte ihm doch von dem Stock in des Vaters Hand der todliche Schlag auf den Rücken oder auf den Kopf. Endlich aber blieb Gregor doch nichts anderes übrig, denn er merkte mit Entsetzen, daß er im Rückwärtsgehen nicht einmal die Richtung einzuhalten verstand; und so begann er, unter unaufhörlichen angstlichen Seitenblicken nach dem Vater, sich nach Möglichkeit rasch, in Wirklichkeit aber doch nur sehr langsam umzudrehen. Vielleicht merkte der Vater seinen guten Willen, denn er störte ihn hierbei nicht, sondern dirigierte sogar hie und da die Drehbewegung von der Ferne mit der Spitze seines Stockes. Wenn nur nicht dieses unertragliche Zischen des Vaters gewesen wäre! Gregor verlor darüber ganz den Kopf. Er war schon fast ganz umgedreht, als er sich, immer auf dieses Zischen horchend, sogar irrte und sich wieder ein Stück zurückdrehte. Als er aber endlich glücklich mit dem Kopf vor der Türöffnung war, zeigte es sich, daß sein Körper zu breit war, um ohne weiteres durchzukommen. Dem Vater fiel es natürlich in seiner gegenwärtigen Verfassung auch nicht entfernt ein, etwa den anderen Turflügel zu öffnen, um für Gregor einen genügenden Durchgang zu schaffen. Seine fixe Idee war bloß, daß Gregor so rasch als möglich in sein Zimmer müsse. Niemals hatte er auch die umständlichen Vorbereitungen gestattet, die Gregor brauchte, um sich aufzurichten und vielleicht auf diese Weise durch die Tür zu kommen. Vielmehr trieb er, als gäbe es kein Hindernis, Gregor jetzt unter besonderem Lärm vorwärts; es klang schon hinter Gregor gar nicht mehr wie die Stimme bloß eines einzigen Vaters; nun gab es wirklich keinen Spaß mehr, und Gregor drangte sich – geschehe was wolle – in die Tür. Die eine Seite seines Körpers hob sich, er lag schief in der Türöffnung, seine eine Flanke war ganz wundgerieben, an der weißen Tür blieben haßliche Flecken, bald steckte er fest und hatte sich allein nicht mehr rühren können, die Beinchen auf der einen Seite hingen zitternd oben in der Luft, die auf der anderen waren schmerzhaft zu Boden gedrückt – da gab ihm der Vater von hinten einen jetzt wahrhaftig erlosenden starken Stoß, und er flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür wurde noch mit dem Stock zugeschlagen, dann war es endlich still.

II

Erst in der Abenddämmerung erwachte Gregor aus seinem schweren ohnmachtsähnlichen Schlaf. Er wäre gewiß nicht viel später auch ohne Störung erwacht, denn er fühlte sich genügend ausgeruht und ausgeschlafen, doch schien es ihm, als hätte ihn ein fluchtiger Schritt und ein vorsichtiges Schließen der zum Vorzimmer führenden Tür geweckt. Der Schein der elektrischen Straßenlampen lag bleich hier und da auf der Zimmerdecke und auf den höheren Teilen der Möbel, aber unten bei Gregor war es finster. Langsam schob er sich, noch ungeschickt mit seinen Fühlern tastend, die er erst jetzt schätzen lernte, zur Tür hin, um nachzusehen, was dort geschehen war. Seine linke Seite schien eine einzige lange, unangenehm spannende Narbe und er mußte auf seinen zwei Beinreihen regelrecht hinken. Ein Beinchen war übrigens im Laufe der vormittägigen Vorfälle schwer verletzt worden – es war fast ein Wunder, daß nur eines verletzt worden war – und schleppte leblos nach.

Erst bei der Tür merkte er, was ihn dorthin eigentlich gelockt hatte; es war der Geruch von etwas Eßbarem gewesen. Denn dort stand ein Napf mit süßer Milch gefüllt, in der kleine Schnitten von Weißbrot schwammen. Fast hatte er vor Freude gelacht, denn er hatte noch größeren Hunger, als am Morgen, und gleich tauchte er seinen Kopf fast bis über die Augen in die Milch hinein. Aber bald zog er ihn enttäuscht wieder zurück; nicht nur, daß ihm das Essen wegen seiner heiklen linken Seite Schwierigkeiten machte – und er konnte nur essen, wenn der ganze Körper schnaufend mitarbeitete –, so schmeckte ihm überdies die Milch, die sonst sein Lieblingsgetränk war, und die ihm gewiß die Schwester deshalb hereingestellt hatte, gar nicht, ja er wandte sich fast mit Widerwillen von dem Napf ab und kroch in die Zimmermitte zurück.

Im Wohnzimmer war, wie Gregor durch die Türspalte sah, das Gas angezündet, aber während sonst zu dieser Tageszeit der Vater seine nachmittags erscheinende Zeitung der Mutter und manchmal auch der Schwester mit erhobener Stimme vorzulesen pflegte, horte man jetzt keinen Laut. Nun vielleicht war dieses Vorlesen, von dem ihm die Schwester immer erzählte und schrieb, in der letzten Zeit überhaupt aus der Übung gekommen. Aber auch ringsherum war es so still, trotzdem doch gewiß die Wohnung nicht leer war. „Was für ein stilles Leben die Familie doch führte“, sagte sich Gregor und fühlte, während er starr vor sich ins Dunkle sah, einen großen Stolz darüber, daß er seinen Eltern und seiner Schwester ein solches Leben in einer so schönen Wohnung hatte verschaffen können. Wie aber, wenn jetzt alle Ruhe, aller Wohlstand, alle Zufriedenheit ein Ende mit Schrecken nehmen sollte? Um sich nicht in solche Gedanken zu verlieren, setzte sich Gregor lieber in Bewegung und kroch im Zimmer auf und ab.

Einmal während des langen Abends wurde die eine Seitentür und einmal die andere bis zu einer kleinen Spalte geöffnet und rasch wieder geschlossen; jemand hatte wohl das Bedürfnis hereinzukommen, aber auch wieder zuviele Bedenken. Gregor machte nun unmittelbar bei der Wohnzimmertür halt, entschlossen, den zögernden Besucher doch irgendwie hereinzubringen oder doch wenigstens zu erfahren, wer es sei; aber nun wurde die Tür nicht mehr geöffnet und Gregor wartete vergebens. Früh, als die Türen versperrt waren, hatten alle zu ihm hereinkommen wollen, jetzt, da er die eine Tür geöffnet hatte und die anderen offenbar während des Tages geöffnet worden waren, kam keiner mehr, und die Schlüssel steckten nun auch von außen.

Spät erst in der Nacht wurde das Licht im Wohnzimmer ausgelöscht, und nun war leicht festzustellen, daß die Eltern und die Schwester so lange wachgeblieben waren, denn wie man genau hören konnte, entfernten sich jetzt alle drei auf den Fußspitzen. Nun kam gewiß bis zum Morgen niemand mehr zu Gregor herein; er hatte also eine lange Zeit, um ungestört zu überlegen, wie er sein Leben jetzt neu ordnen sollte. Aber das hohe freie Zimmer, in dem er gezwungen war, flach auf dem Boden zu liegen, ängstigte ihn, ohne daß er die Ursache herausfinden konnte, denn es war ja sein seit fünf Jahren von ihm bewohntes Zimmer – und mit einer halb unbewußten Wendung und nicht ohne eine leichte Scham eilte er unter das Kanapee, wo er sich, trotzdem sein Rücken ein wenig gedrückt wurde und trotzdem er den Kopf nicht mehr erheben konnte, gleich sehr behaglich fühlte und nur bedauerte, daß sein Körper zu breit war, um vollständig unter dem Kanapee untergebracht zu werden.

Dort blieb er die ganze Nacht, die er zum Teil im Halbschlaf, aus dem ihn der Hunger immer wieder aufschreckte, verbrachte, zum Teil aber in Sorgen und undeutlichen Hoffnungen, die aber alle zu dem Schlusse führten, daß er sich vorläufig ruhig verhalten und durch Geduld und große Rücksichtnahme der Familie die Unannehmlichkeiten ertraglich machen müsse, die er ihr in seinem gegenwärtigen Zustand nun einmal zu verursachen gezwungen war.

Schon am frühen Morgen, es war fast noch Nacht, hatte Gregor Gelegenheit, die Kraft seiner eben gefaßten Entschlüsse zu prüfen, denn vom Vorzimmer her öffnete die Schwester, fast völlig angezogen, die Tür und sah mit Spannung herein. Sie fand ihn nicht gleich, aber als sie ihn unter dem Kanapee bemerkte – Gott, er mußte doch irgendwo sein, er hatte doch nicht wegfliegen können – erschrak sie so sehr, daß sie, ohne sich beherrschen zu können, die Tür von außen wieder zuschlug. Aber als bereue sie ihr Benehmen, öffnete sie die Tür sofort wieder und trat, als sei sie bei einem Schwerkranken oder gar bei einem Fremden, auf den Fußspitzen herein. Gregor hatte den Kopf bis knapp zum Rande des Kanapees vorgeschoben und beobachtete sie. Ob sie wohl bemerken würde, daß er die Milch stehen gelassen hatte, und zwar keineswegs aus Mangel an Hunger, und ob sie eine andere Speise hereinbringen würde, die ihm besser entsprach? Tate sie es nicht von selbst, er wollte lieber verhungern, als sie darauf aufmerksam machen, trotzdem es ihn eigentlich ungeheuer drängte, unterm Kanapee vorzuschleichen, sich der Schwester zu Füßen zu werfen und sie um irgendetwas Gutes zum Essen zu bitten. Aber die Schwester bemerkte sofort mit Verwunderung den noch vollen Napf, aus dem nur ein wenig Milch ringsherum verschüttet war, sie hob ihn gleich auf, zwar nicht mit den bloßen Händen, sondern mit einem Fetzen, und trug ihn hinaus. Gregor war außerdem neugierig, was sie zum Ersatz bringen würde, und er machte sich die verschiedensten Gedanken darüber. Niemals aber hatte er erraten können, was die Schwester in ihrer Güte wirklich tat. Sie brachte ihm, um seinen Geschmack zu prüfen, eine ganze Auswahl, alles auf einer alten Zeitung ausgebreitet. Da war altes halbverfaultes Gemüse; Knochen vom Nachtmahl her, die von festgewordener weißer Sauce umgeben waren; ein paar Rosinen und Mandeln; ein Käse, den Gregor vor zwei Tagen für ungenießbar erklärt hatte; ein trockenes Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot und ein mit Butter beschmiertes und gesalzenes Brot. Außerdem stellte sie zu dem allen noch den wahrscheinlich ein für allemal für Gregor bestimmten Napf, in den sie Wasser gegossen hatte. Und aus Zartgefühl, daß sie wußte, daß Gregor vor ihr nicht essen würde, entfernte sie sich eiligst und drehte sogar den Schlüssel um, damit nur Gregor merken könne, daß er es sich so behaglich machen dürfe, wie er wolle. Gregors Beinchen schwirrten, als es jetzt zum Essen ging. Seine Wunden mußten übrigens auch schon vollständig geheilt sein, er fühlte keine Behinderung mehr, er staunte darüber und dachte daran, wie er vor mehr als einem Monat sich mit dem Messer ganz wenig in den Finger geschnitten, und wie ihm diese Wunde noch vorgestern genug wehgetan hatte. „Sollte ich jetzt weniger Feingefühl haben?“ dachte er und saugte schon gierig an dem Käse, zu dem es ihn vor allen anderen Speisen sofort und nachdrucklich gezogen hatte. Rasch hintereinander und mit vor Befriedigung tranenden Augen verzehrte er den Käse, das Gemüse und die Sauce; die frischen Speisen dagegen schmeckten ihm nicht, er konnte nicht einmal ihren Geruch vertragen und schleppte sogar die Sachen, die er essen wollte, ein Stückchen weiter weg. Er war schon längst mit allem fertig und lag nur noch faul auf der gleichen Stelle, als die Schwester zum Zeichen, daß er sich zurückziehen

solle, langsam die Schlüssler umdrehte. Das schreckte ihn sofort auf, trotzdem er schon fast schlummerte, und er eilte wieder unter dem Kanapee. Aber es kostete ihn große Selbstüberwindung, auch nur die kurze Zeit, während welcher die Schwester im Zimmer war, unter dem Kanapee zu bleiben, denn von dem reichlichen Essen hatte sich sein Leib ein wenig gerundet und er konnte dort in der Enge kaum atmen. Unter kleinen Erstickungsanfällen sah er mit etwas hervorgequollenen Augen zu, wie die nichtsahnende Schwester mit einem Besen nicht nur die Überbleibsel zusammenkehrte, sondern selbst die von Gregor gar nicht berührten Speisen, als seien also auch diese nicht mehr zu gebrauchen, und wie sie alles hastig in einen Kubel schüttete, den sie mit einem Holzdeckel schloß, worauf sie alles hinaustrug. Kaum hatte sie sich umgedreht, zog sich schon Gregor unter dem Kanapee hervor und streckte und blähte sich.

Auf diese Weise bekam nun Gregor täglich sein Essen, einmal am Morgen, wenn die Eltern und das Dienstmädchen noch schliefen, das zweitemal nach dem allgemeinen Mittagessen, denn dann schliefen die Eltern gleichfalls noch ein Weilchen, und das Dienstmädchen wurde von der Schwester mit irgendeiner Besorgung weggeschickt. Gewiß wollten auch sie nicht, daß Gregor verhungere, aber vielleicht hatten sie es nicht ertragen können, von seinem Essen mehr als durch Hörensagen zu erfahren, vielleicht wollte die Schwester ihnen auch eine möglicherweise nur kleine Trauer ersparen, denn tatsächlich litten sie ja gerade genug.

Mit welchen Ausreden man an jenem ersten Vormittag den Arzt und den Schlosser wieder aus der Wohnung geschafft hatte, konnte Gregor gar nicht erfahren, denn da er nicht verstanden wurde, dachte niemand daran, auch die Schwester nicht, daß er die Anderen verstehen könne, und so mußte er sich, wenn die Schwester in seinem Zimmer war, damit begnügen, nur hier und da ihre Seufzer und Anrufe der Heiligen zu hören. Erst später, als sie sich ein wenig an alles gewöhnt hatte – von vollständiger Gewohnung konnte natürlich niemals die Rede sein –, erhaschte Gregor manchmal eine Bemerkung, die freundlich gemeint war oder so gedeutet werden konnte. „Heute hat es ihm aber geschmeckt“, sagte sie, wenn Gregor unter dem Essen tüchtig aufgeräumt hatte, während sie im gegenteiligen Fall, der sich allmählich immer häufiger wiederholte, fast traurig zu sagen pflegte: „Nun ist wieder alles stehengeblieben.“

Während aber Gregor unmittelbar keine Neuigkeit erfahren konnte, erhörte er manches aus den Nebenzimmern, und wo er nur einmal Stimmen hörte, lief er gleich zu der betreffenden Tür und drückte sich mit ganzem Leib an sie. Besonders in der ersten Zeit gab es kein Gespräch, das nicht irgendwie, wenn auch nur im geheimen, von ihm handelte. Zwei Tage lang waren bei allen Mahlzeiten Beratungen darüber zu hören, wie man sich jetzt verhalten solle; aber auch zwischen den Mahlzeiten sprach man über das gleiche Thema, denn immer waren zumindest zwei Familienmitglieder zu Hause, da wohl niemand allein zu Hause bleiben wollte und man die Wohnung doch auf keinen Fall ganzlich verlassen konnte. Auch hatte das Dienstmädchen gleich am ersten Tag – es war nicht ganz klar, was und wieviel sie von dem Vorgefallenen wußte – kniefällig die Mutter gebeten, sie sofort zu entlassen, und als sie sich eine Viertelstunde danach verabschiedete, dankte sie für die Entlassung unter Tränen, wie für die größte Wohltat, die man ihr hier erwiesen hatte, und gab, ohne daß man es von ihr verlangte, einen furchterlichen Schwur ab, niemandem auch nur das Geringste zu verraten.

Nun mußte die Schwester im Verein mit der Mutter auch kochen; allerdings machte das nicht viel Mühe, denn man mußte fast nichts. Immer wieder hörte Gregor, wie der eine den anderen vergebens zum Essen aufforderte und keine andere Antwort bekam, als: „Danke, ich habe genug“ oder etwas Ähnliches. Getrunken wurde vielleicht auch nichts. Ofters fragte die Schwester den Vater, ob er Bier haben wolle, und herzlich erbot sie sich, es selbst zu holen, und als der Vater schwieg, sagte sie, um ihm jedes Bedenken zu nehmen, sie könne auch die Hausmeisterin darum schicken, aber dann sagte der Vater schließlich ein großes „Nein“, und es wurde nicht mehr davon gesprochen.

Schon im Laufe des ersten Tages legte der Vater die ganzen Vermögensverhältnisse und Aussichten sowohl der Mutter, als auch der Schwester dar. Hie und da stand er vom Tische auf und holte aus seiner kleinen Wertheimkassa, die er aus dem vor fünf Jahren erfolgten Zusammenbruch seines Geschäftes gerettet hatte, irgendeinen Beleg oder irgendein Vormerkbuch. Man hörte, wie er das komplizierte Schloß aufsperrte und nach Entnahme des Gesuchten wieder verschloß. Diese Erklärungen des Vaters waren zum Teil das erste Erfreuliche, was Gregor seit seiner Gefangenschaft zu hören bekam. Er war der Meinung gewesen, daß dem Vater von jenem Geschäft her nicht das Geringste übriggeblieben war, zumindest hatte ihm der Vater nichts Gegenteiliges gesagt, und Gregor allerdings hatte ihn auch nicht darum gefragt. Gregors Sorge war damals nur gewesen, alles daranzusetzen, um die Familie das geschäftliche Unglück, das alle in eine vollständige Hoffnungslosigkeit gebracht hatte, möglichst rasch vergessen zu lassen. Und so hatte er damals mit ganz besonderem Feuer zu arbeiten angefangen und war fast über Nacht aus einem kleinen Kommis ein Reisender geworden, der natürlich ganz andere Möglichkeiten des Geldverdienens hatte, und dessen Arbeitserfolge sich sofort in Form der Provision zu Bargeld verwandelten, das der erstaunten und beglückten Familie zu Hause auf den Tisch gelegt werden konnte. Es waren schöne Zeiten gewesen, und niemals nachher hatten sie sich, wenigstens in diesem Glanze, wiederholt, trotzdem Gregor später so viel Geld verdiente, daß er den Aufwand der ganzen Familie zu tragen imstande war und auch trug. Man hatte sich eben daran gewöhnt, sowohl die Familie, als auch Gregor, man nahm das Geld dankbar an, er lieferte es gern ab, aber eine besondere Wärme wollte sich nicht mehr ergeben. Nur die Schwester war Gregor doch noch nahe geblieben, und es war sein geheimer Plan, sie, die zum Unterschied von Gregor Musik sehr liebte und ruhrend Violine zu spielen verstand, nächstes Jahr, ohne Rücksicht auf die großen Kosten, die das verursachen mußte, und die man schon auf andere Weise hereinbringen würde, auf das Konservatorium zu schicken. Ofters während der kurzen Aufenthalte Gregors in der Stadt wurde in den Gesprächen mit der Schwester das Konservatorium erwähnt, aber immer nur als schöner Traum, an dessen Verwirklichung nicht zudenken war, und die Eltern hörten nicht einmal diese unschuldigen Erwähnungen gern; aber Gregor dachte sehr bestimmt daran und beabsichtigte, es am Weihnachtsabend feierlich zu erklären.

Solche in seinem gegenwärtigen Zustand ganz nutzlose Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während er dort aufrecht an der Türe klebte und horchte. Manchmal konnte er vor allgemeiner Müdigkeit gar nicht mehr zuhören und ließ den Kopf nachlässig gegen die Tür schlagen, hielt ihn aber sofort wieder fest, denn selbst das kleine Geräusch, das er damit verursacht hatte, war nebenan gehört worden und hatte alle verstummen lassen. „Was er nur wieder treibt“, sagte der Vater nach einer Weile, offenbar zur Türe hingewendet, und dann erst wurde das unterbrochene Gespräch allmählich wieder aufgenommen.

Gregor erfuhr nun zur Genüge – denn der Vater pflegte sich in seinen Erklärungen oftens zu wiederholen, teils, weil er selbst sich mit diesen Dingen schon lange nicht beschäftigt hatte, teils auch, weil die Mutter nicht alles gleich beim ersten Mal verstand –, daß trotz allen Unglücks ein allerdings ganz kleines Vermögen aus der alten Zeit noch vorhanden war, das die nicht angerührten Zinsen in der Zwischenzeit ein wenig hatten anwachsen lassen. Außerdem aber war das Geld, das Gregor allmonatlich nach Hause gebracht hatte – er selbst hatte nur ein paar Gulden für sich behalten –, nicht vollständig aufgebraucht worden und hatte sich zu einem kleinen Kapital angesammelt. Gregor, hinter seiner Türe, nickte eifrig, erfreut über diese unerwartete Vorsicht und Sparsamkeit. Eigentlich hatte er ja mit diesen überschüssigen Geldern die Schuld des Vaters gegenüber dem

Chef weiter abgetragen haben können, und jener Tag, an dem er diesen Posten hatte loswerden können, war weit näher gewesen, aber jetzt war es zweifellos besser so, wie es der Vater eingerichtet hatte. Nun genugte dieses Geld aber ganz und gar nicht, um die Familie etwa von den Zinsen leben zu lassen; es genugte vielleicht, um die Familie ein, höchstens zwei Jahre zu erhalten, mehr war es nicht. Es war also bloß eine Summe, die man eigentlich nicht angreifen durfte, und die für den Notfall zurückgelegt werden mußte; das Geld zum Leben aber mußte man verdienen. Nun war aber der Vater ein zwar gesunder, aber alter Mann, der schon fünf Jahre nichts gearbeitet hatte und sich jedenfalls nicht viel zutrauen durfte; er hatte in diesen fünf Jahren, welche die ersten Ferien seines mühevollen und doch erfolglosen Lebens waren, viel Fett angesetzt und war dadurch recht schwerfällig geworden. Und die alte Mutter sollte nun vielleicht Geld verdienen, die an Asthma litt, der eine Wanderung durch die Wohnung schon Anstrengung verursachte, und die jeden zweiten Tag in Atembeschwerden auf dem Sopha beim offenen Fenster verbrachte? Und die Schwester sollte Geld verdienen, die noch ein Kind war mit ihren siebzehn Jahren, und der ihre bisherige Lebensweise so sehr zu gönnen war, die daraus bestanden hatte, sich nett zu kleiden, lange zu schlafen, in der Wirtschaft mitzuhelfen, an ein paar bescheidenen Vergnügungen sich zu beteiligen und vor allem Violine zu spielen? Wenn die Rede auf diese Notwendigkeit des Geldverdienens kam, ließ zuerst immer Gregor die Türe los und warf sich auf das neben der Tür befindliche kühle Ledersopha, denn ihm war ganz heiß vor Beschamung und Trauer.

Oft lag er dort die ganzen langen Nächte über, schlief keinen Augenblick und scharrte nur stundenlang auf dem Leder. Oder er scheute nicht die große Mühe, einen Sessel zum Fenster zu schieben, dann die Fensterbrüstung hinaufzukriechen und, in den Sessel gestemmt, sich ans Fenster zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner Erinnerung an das Befreiende, das früher für ihn darin gelegen war, aus dem Fenster zu schauen. Denn tatsächlich sah er von Tag zu Tag die auch nur ein wenig entfernten Dinge immer undeutlicher; das gegenüberliegende Krankenhaus, dessen nur allzu häufigen Anblick er früher verflucht hatte, bekam er überhaupt nicht mehr zu Gesicht, und wenn er nicht genau gewußt hatte, daß er in der stillen, aber völlig städtischen Charlottenstraße wohnte, hatte er glauben können, von seinem Fenster aus in eine Einode zu schauen, in welcher der graue Himmel und die graue Erde ununterscheidbar sich vereinigten. Nur zweimal hatte die aufmerksame Schwester sehen müssen, daß der Sessel beim Fenster stand, als sie schon jedesmal, nachdem sie das Zimmer aufgeräumt hatte, den Sessel wieder genau zum Fenster hinschob, ja sogar von nun ab den inneren Fensterflügel offen ließ.

Hatte Gregor nur mit der Schwester sprechen und ihr für alles danken können, was sie für ihn machen mußte, er hatte ihre Dienste leichter ertragen; so aber litt er darunter. Die Schwester suchte freilich die Peinlichkeit des Ganzen möglichst zu verwischen, und je längere Zeit verging, desto besser gelang es ihr natürlich auch, aber auch Gregor durchschaute mit der Zeit alles viel genauer. Schon ihr Eintritt war für ihn schrecklich. Kaum war sie eingetreten, lief sie, ohne sich Zeit zu nehmen, die Türe zu schließen, so sehr sie sonst darauf achtete, jedem den Anblick von Gregors Zimmer zu ersparen, geradewegs zum Fenster und rief es, als ersticke sie fast, mit hastigen Händen auf, blieb auch, selbst wenn es noch so kalt war, ein Weilchen beim Fenster und atmete tief. Mit diesem Laufen und Larmen erschreckte sie Gregor taglich zweimal; die ganze Zeit über zitterte er unter dem Kanapee und wußte doch sehr gut, daß sie ihn gewiß gerne damit verschont hatte, wenn es ihr nur möglich gewesen wäre, sich in einem Zimmer, in dem sich Gregor befand, bei geschlossenem Fenster aufzuhalten.

Einmal, es war wohl schon ein Monat seit Gregors Verwandlung vergangen, und es war doch schon für die Schwester kein besonderer Grund mehr, über Gregors Aussehen in Erstaunen zu geraten, kam sie ein wenig früher als sonst und traf Gregor noch an, wie er, unbeweglich und so recht zum Erschrecken aufgestellt, aus dem Fenster schaute. Es wäre für Gregor nicht unerwartet gewesen, wenn sie nicht eingetreten wäre, da er sie durch seine Stellung verhinderte, sofort das Fenster zu öffnen, aber sie trat nicht nur nicht ein, sie fuhr sogar zurück und schloß die Tür; ein Fremder hatte geradezu denken können, Gregor habe ihr aufgelauert und habe sie beißen wollen. Gregor versteckte sich natürlich sofort unter dem Kanapee, aber er mußte bis zum Mittag warten, ehe die Schwester wiederkam, und sie schien viel unruhiger als sonst. Er erkannte daraus, daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich war und ihr auch weiterhin unerträglich bleiben müsse, und daß sie sich wohl sehr überwinden mußte, vor dem Anblick auch nur der kleinen Partie seines Körpers nicht davonzulaufen, mit der er unter dem Kanapee hervorragte. Um ihr auch diesen Anblick zu ersparen, trug er eines Tages auf seinem Rücken – er brauchte zu dieser Arbeit vier Stunden – das Leintuch auf das Kanapee und ordnete es in einer solchen Weise an, daß er nun gänzlich verdeckt war, und daß die Schwester, selbst wenn sie sich buckte, ihn nicht sehen konnte. Wäre dieses Leintuch ihrer Meinung nach nicht nötig gewesen, dann hätte sie es ja entfernen können, denn daß es nicht zum Vergnügen Gregors gehören konnte, sich so ganz und gar abzusperrn, war doch klar genug, aber sie ließ das Leintuch, so wie es war, und Gregor glaubte sogar einen dankbaren Blick erhascht zu haben, als er einmal mit dem Kopf vorsichtig das Leintuch ein wenig luftete, um nachzusehen, wie die Schwester die neue Einrichtung aufnahm.

In den ersten vierzehn Tagen konnten es die Eltern nicht über sich bringen, zu ihm hereinzukommen, und er horte oft, wie sie die jetzige Arbeit der Schwester völlig anerkannten, während sie sich bisher häufig über die Schwester geärgert hatten, weil sie ihnen als ein etwas nutzloses Mädchen erschienen war. Nun aber warteten oft beide, der Vater und die Mutter, vor Gregors Zimmer, während die Schwester dort aufräumte, und kaum war sie herausgekommen, mußte sie ganz genau erzählen, wie es in dem Zimmer aussah, was Gregor gegessen hatte, wie er sich diesmal benommen hatte, und ob vielleicht eine kleine Besserung zu bemerken war. Die Mutter übrigens wollte verhältnismäßig bald Gregor besuchen, aber der Vater und die Schwester hielten sie zuerst mit Vernunftgründen zurück, denen Gregor sehr aufmerksam zuhorte, und die er vollständig billigte. Später aber mußte man sie mit Gewalt zurückhalten, und wenn sie dann rief: "Laßt mich doch zu Gregor, er ist ja mein unglücklicher Sohn! Begreift ihr es denn nicht, daß ich zu ihm muß?" dann dachte Gregor, daß es vielleicht doch gut wäre, wenn die Mutter hereinkame, nicht jeden Tag natürlich, aber vielleicht einmal in der Woche; sie verstand doch alles viel besser als die Schwester, die trotz all ihrem Mute doch nur ein Kind war und im letzten Grunde vielleicht nur aus kindlichem Leichtsinn eine so schwere Aufgabe übernommen hatte.

Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging bald in Erfüllung. Während des Tages wollte Gregor schon aus Rücksicht auf seine Eltern sich nicht beim Fenster zeigen, kriechen konnte er aber auf den paar Quadratmetern des Fußbodens auch nicht viel, das ruhige Liegen ertrug er schon während der Nacht schwer, das Essen machte ihm bald nicht mehr das geringste Vergnügen, und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hing er gern; es war ganz anders, als das Liegen auf dem Fußboden; man atmete freier; ein leichtes Schwingen ging durch den Körper; und in der fast glücklichen Zerstretheit, in der sich Gregor dort oben befand, konnte es geschehen, daß er zu seiner eigenen Überraschung sich losließ und auf den Boden klatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher und beschädigte sich selbst bei einem so großen Falle nicht. Die Schwester nun bemerkte sofort die neue Unterhaltung, die Gregor für sich gefunden hatte – er hinterließ ja auch beim Kriechen hier und da Spuren seines Klebstoffes –, und da setzte sie es sich in den Kopf, Gregor das Kriechen in großem Ausmaß zu ermöglichen und die Möbel, die es verhinderten, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch, wegzuschaffen. Nun war sie aber nicht imstande, dies allein zu tun; den Vater wagte sie nicht um Hilfe zu bitten; das Dienstmädchen hatte ihr ganz gewiß nicht geholfen, denn dieses etwa sechzehnjährige Mädchen harrete zwar tapfer seit Entlassung der früheren Kochin aus, hatte aber um die Vergünstigung gebeten, die Küche unaufhörlich versperrt halten zu dürfen und nur auf besonderen Anruf öffnen zu

müssen; so blieb der Schwester also nichts übrig, als einmal in Abwesenheit des Vaters die Mutter zu holen. Mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, verstummte aber an der Tür vor Gregors Zimmer. Zuerst sah natürlich die Schwester nach, ob alles im Zimmer in Ordnung war; dann erst ließ sie die Mutter eintreten. Gregor hatte in größter Eile das Leintuch noch tiefer und mehr in Falten gezogen, das Ganze sah wirklich nur wie ein zufällig über das Kanapee geworfenes Leintuch aus. Gregor unterließ auch diesmal, unter dem Leintuch zu spionieren; er verzichtete darauf, die Mutter schon diesmal zu sehen, und war nur froh, daß sie nun doch gekommen war. "Komm nur, man sieht ihn nicht", sagte die Schwester, und offenbar führte sie die Mutter an der Hand. Gregor hörte nun, wie die zwei schwachen Frauen den immerhin schweren alten Kasten von seinem Platze ruckten, und wie die Schwester immerfort den größten Teil der Arbeit für sich beanspruchte, ohne auf die Warnungen der Mutter zu hören, welche fürchtete, daß sie sich überanstrengen werde. Es dauerte sehr lange. Wohl nach schon viertelstündiger Arbeit sagte die Mutter, man solle den Kasten doch lieber hier lassen, denn erstens sei er zu schwer, sie würden vor Ankunft des Vaters nicht fertig werden und mit dem Kasten in der Mitte des Zimmers Gregor jeden Weg verrammeln, zweitens aber sei es doch gar nicht sicher, daß Gregor mit der Entfernung der Möbel ein Gefallen geschehe. Ihr scheine das Gegenteil der Fall zu sein; ihr bedruckte der Anblick der leeren Wand geradezu das Herz; und warum solle nicht auch Gregor diese Empfindung haben, da er doch an die Zimmermöbel längst gewohnt sei und sich deshalb im leeren Zimmer verlassen fühlen werde. "Und ist es dann nicht so", schloß die Mutter ganz leise, wie sie überhaupt fast flüsterte, als wolle sie vermeiden, daß Gregor, dessen genauen Aufenthalt sie ja nicht kannte, auch nur den Klang der Stimme höre, denn daß er die Worte nicht verstand, davon war sie überzeugt, "und ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, daß wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen? Ich glaube, es wäre das Beste, wir suchen das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und umso leichter die Zwischenzeit vergessen kann."

Beim Anhören dieser Worte der Mutter erkannte Gregor, daß der Mangel jeder unmittelbaren menschlichen Ansprache, verbunden mit dem einformigen Leben inmitten der Familie, im Laufe dieser zwei Monate seinen Verstand hatte verwirren müssen, denn anders konnte er es sich nicht erklären, daß er ernsthaft danach hatte verlangen können, daß sein Zimmer ausgeleert wurde. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen, in der er dann freilich nach allen Richtungen ungestört kriechen konnte, jedoch auch unter gleichzeitigem, schnellem, gänzlichen Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit? War er doch jetzt schon nahe daran, zu vergessen, und nur die seit langem nicht gehörte Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt. Nichts sollte entfernt werden; alles mußte bleiben; die guten Einwirkungen der Möbel auf seinen Zustand konnte er nicht entbehren; und wenn die Möbel ihn hinderten, das sinnlose Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, sondern ein großer Vorteil.

Aber die Schwester war leider anderer Meinung; sie hatte sich, allerdings nicht ganz unberechtigt, angewöhnt, bei Besprechung der Angelegenheiten Gregors als besonders Sachverständige gegenüber den Eltern aufzutreten, und so war auch jetzt der Rat der Mutter für die Schwester Grund genug, auf der Entfernung nicht nur des Kastens und des Schreibtisches, an die sie zuerst allein gedacht hatte, sondern auf der Entfernung sämtlicher Möbel, mit Ausnahme des unentbehrlichen Kanapees, zu bestehen. Es war natürlich nicht nur kindlicher Trotz und das in der letzten Zeit so unerwartet und schwer erworbene Selbstvertrauen, das sie zu dieser Forderung bestimmte; sie hatte doch auch tatsächlich beobachtet, daß Gregor viel Raum zum Kriechen brauchte, dagegen die Möbel, soweit man sehen konnte, nicht im geringsten benutzte. Vielleicht aber spielte auch der schwärmerische Sinn der Mädchen ihres Alters mit, der bei jeder Gelegenheit seine Befriedigung sucht, und durch den Grete jetzt sich dazu verlocken ließ, die Lage Gregors noch schreckenerregender machen zu wollen, um dann noch mehr als bis jetzt für ihn leisten zu können. Denn in einen Raum, in dem Gregor ganz allein die leeren Wände beherrschte, wurde wohl kein Mensch außer Grete jemals einzutreten sich getrauen.

Und so ließ sie sich von ihrem Entschlusse durch die Mutter nicht abbringen, die auch in diesem Zimmer vor lauter Unruhe unsicher schien, bald verstummte und der Schwester nach Kräften beim Hinausschaffen des Kastens half. Nun, den Kasten konnte Gregor im Notfall noch entbehren, aber schon der Schreibtisch mußte bleiben. Und kaum hatten die Frauen mit dem Kasten, an den sie sich achzend drückten, das Zimmer verlassen, als Gregor den Kopf unter dem Kanapee hervorstieß, um zu sehen, wie er vorsichtig und möglichst rücksichtsvoll eingreifen konnte. Aber zum Unglück war es gerade die Mutter, welche zuerst zurückkehrte, während Grete im Nebenzimmer den Kasten umfassen hielt und ihn allein hin und her schwang, ohne ihn natürlich von der Stelle zu bringen. Die Mutter aber war Gregors Anblick nicht gewohnt, er hatte sie krank machen können, und so eilte Gregor erschrocken im Rückwärtslauf bis an das andere Ende des Kanapees, konnte es aber nicht mehr verhindern, daß das Leintuch vorne ein wenig sich bewegte. Das genugte, um die Mutter aufmerksam zu machen. Sie stockte, stand einen Augenblick still und ging dann zu Grete zurück.

Trotzdem sich Gregor immer wieder sagte, daß ja nichts Außergewöhnliches geschehe, sondern nur ein paar Möbel umgestellt wurden, wirkte doch, wie er sich bald eingestehen mußte, dieses Hin- und Hergehen der Frauen, ihre kleinen Zurufe, das Kratzen der Möbel auf dem Boden, wie ein großer, von allen Seiten genährter Trübel auf ihn, und er mußte sich, so fest er Kopf und Beine an sich zog und den Leib bis an den Boden drückte, unweigerlich sagen, daß er das Ganze nicht lange aushalten werde. Sie raumten ihm sein Zimmer aus; nahmen ihm alles, was ihm lieb war; den Kasten, in dem die Laubsäge und andere Werkzeuge lagen, hatten sie schon hinausgetragen; lockerten jetzt den schon im Boden fest eingegrabenen Schreibtisch, an dem er als Handelsakademiker, als Bürgerschüler, ja sogar schon als Volksschüler seine Aufgaben geschrieben hatte, – da hatte er wirklich keine Zeit mehr, die guten Absichten zu prüfen, welche die zwei Frauen hatten, deren Existenz er übrigens fast vergessen hatte, denn vor Erschöpfung arbeiteten sie schon stumm, und man hörte nur das schwere Tappen ihrer Füße.

Und so brach er denn hervor – die Frauen stützten sich gerade im Nebenzimmer an den Schreibtisch, um ein wenig zu verschlafen –, wechselte viermal die Richtung des Laufes, er wußte wirklich nicht, was er zuerst retten sollte, da sah er an der im übrigen schon leeren Wand auffallend das Bild der in lauter Pelzwerk gekleideten Dame hangen, kroch eilends hinauf und preßte sich an das Glas, das ihn festhielt und seinem heißen Bauch wohlthat. Dieses Bild wenigstens, das Gregor jetzt ganz verdeckte, wurde nun gewiß niemand wegnehmen. Er verdrehte den Kopf nach der Tür des Wohnzimmers, um die Frauen bei ihrer Rückkehr zu beobachten.

Sie hatten sich nicht viel Ruhe gegönnt und kamen schon wieder; Grete hatte den Arm um die Mutter gelegt und trug sie fast. "Also was nehmen wir jetzt?" sagte Grete und sah sich um. Da kreuzten sich ihre Blicke mit denen Gregors an der Wand. Wohl nur infolge der Gegenwart der Mutter behielt sie ihre Fassung, beugte ihr Gesicht zur Mutter, um diese vom Herumschauen abzuhalten, und sagte, allerdings zitternd und unüberlegt: "Komm, wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick noch ins Wohnzimmer zurückgehen?" Die Absicht Gretes war für Gregor klar, sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja immerhin versuchen! Er sah auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen.

Aber Gretes Worte hatten die Mutter erst recht beunruhigt, sie trat zur Seite, erblickte den riesigen braunen Fleck auf der geblumten Tapete, rief, ehe ihr eigentlich zum Bewußtsein kam, daß das Gregor war, was sie sah, mit schreiender, rauher Stimme: "Ach Gott, ach Gott!" und fiel mit ausgebreiteten Armen, als gebe sie alles auf, über das Kanapee hin und ruhrte sich nicht. "Du, Gregor!" rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. Es waren seit der Verwandlung die ersten Worte, die sie unmittelbar an ihn gerichtet hatte. Sie lief ins Nebenzimmer, um irgendeine Essenz zu holen, mit der sie die Mutter aus ihrer Ohnmacht wecken konnte; Gregor wollte auch helfen – zur Rettung des Bildes war noch Zeit –; er klebte aber fest an dem Glas und mußte sich mit Gewalt losreißen; er lief dann auch ins Nebenzimmer, als könne er der Schwester irgendeinen Rat geben, wie in früherer Zeit; mußte dann aber untätig hinter ihr stehen, während sie in verschiedenen Flaschchen kramte; erschreckte sie noch, als sie sich umdrehte; eine Flasche fiel auf den Boden und zerbrach; ein Splitter verletzte Gregor im Gesicht, irgendeine atzende Medizin umfloß ihn; Grete nahm nun, ohne sich länger aufzuhalten, soviel Flaschchen, als sie nur halten konnte, und rannte mit ihnen zur Mutter hinein; die Tür schlug sie mit dem Fuß zu. Gregor war nun von der Mutter abgeschlossen, die durch seine Schuld vielleicht dem Tode nahe war; die Tür durfte er nicht öffnen, wollte er die Schwester, die bei der Mutter bleiben mußte, nicht verjagen; er hatte jetzt nichts zu tun, als zu warten; und von Selbstvorwürfen und Besorgnis bedrängt, begann er zu kriechen, überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke und fiel endlich in seiner Verzweiflung, als sich das ganze Zimmer schon um ihn zu drehen anfing, mitten auf den großen Tisch.

Es verging eine kleine Weile, Gregor lag matt da, ringsherum war es still, vielleicht war das ein gutes Zeichen. Da lautete es. Das Mädchen war natürlich in ihrer Küche eingesperrt und Grete mußte daher öffnen gehen. Der Vater war gekommen. "Was ist geschehen" waren seine ersten Worte; Gretes Aussehen hatte ihm wohl alles verraten. Grete antwortete mit dumpfer Stimme, offenbar drückte sie ihr Gesicht an des Vaters Brust: "Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen." "Ich habe es ja erwartet", sagte der Vater, "ich habe es euch ja immer gesagt, aber ihr Frauen wollt nicht hören." Gregor war es klar, daß der Vater Gretes allzukurze Mitteilung schlecht gedeutet hatte und annahm, daß Gregor sich irgendeine Gewalttat habe zuschulden kommen lassen. Deshalb mußte Gregor den Vater jetzt zu besänftigen suchen, denn ihn aufzuklären hatte er weder Zeit noch Möglichkeit. Und so fluchtete er sich zur Tür seines Zimmers und drückte sich an sie, damit der Vater beim Eintritt vom Vorzimmer her gleich sehen könne, daß Gregor die beste Absicht habe, sofort in sein Zimmer zurückzukehren, und daß es nicht nötig sei, ihn zurückzutreiben, sondern daß man nur die Tür zu öffnen brauche, und gleich werde er verschwinden.

Aber der Vater war nicht in der Stimmung, solche Feinheiten zu bemerken; "Ah!" rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als sei er gleichzeitig wütend und froh. Gregor zog den Kopf von der Tür zurück und hob ihn gegen den Vater. So hatte er sich den Vater wirklich nicht vorgestellt, wie er jetzt dastand; allerdings hatte er in der letzten Zeit über dem neuartigen Herumkriechen versäumt, sich so wie früher um die Vorgänge in der übrigen Wohnung zu kümmern, und hatte eigentlich darauf gefaßt sein müssen, veränderte Verhältnisse anzutreffen. Trotzdem, trotzdem, war das noch der Vater? Der gleiche Mann, der mude im Bett vergraben lag, wenn früher Gregor zu einer Geschäftsreise ausgerückt war; der ihn an Abenden der Heimkehr im Schlafrock im Lehnstuhl empfangen hatte; gar nicht recht imstande war, aufzustehen, sondern zum Zeichen der Freude nur die Arme gehoben hatte, und der bei den seltenen gemeinsamen Spaziergängen an ein paar Sonntagen im Jahr und an den höchsten Feiertagen zwischen Gregor und der Mutter, die schon an und für sich langsam gingen, immer noch ein wenig langsamer, in seinen alten Mantel eingepackt, mit stets vorsichtig aufgesetztem Kruckstock sich vorwärts arbeitete und, wenn er etwas sagen wollte, fast immer stillstand und seine Begleitung um sich versammelte? Nun aber war er recht gut aufgerichtet; in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen gekleidet, wie sie Diener der Bankinstitute tragen; über dem hohen steifen Kragen des Rockes entwickelte sich sein starkes Doppelkinn; unter den buschigen Augenbrauen drang der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam hervor; das sonst zerzauste weiße Haar war zu einer peinlich genauen, leuchtenden Scheitelfrisur niedergekämmt. Er warf seine Mutze, auf der ein Goldmonogramm, wahrscheinlich das einer Bank, angebracht war, über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapee hin und ging, die Enden seines langen Uniformrockes zurückgeschlagen, die Hände in den Hosentaschen, mit verbissenem Gesicht auf Gregor zu. Er mußte wohl selbst nicht, was er vor hatte; immerhin hob er die Füße ungewöhnlich hoch, und Gregor staunte über die Riesengröße seiner Stiefelsohlen. Doch hielt er sich dabei nicht auf, er mußte ja noch vom ersten Tage seines neuen Lebens her, daß der Vater ihm gegenüber nur die größte Strenge für angebracht ansah. Und so lief er vor dem Vater her, stockte, wenn der Vater stehen blieb, und eilte schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur ruhrte. So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne daß sich etwas Entscheidendes ereignete, ja ohne daß das Ganze infolge seines langsamen Tempos den Anschein einer Verfolgung gehabt hatte. Deshalb blieb auch Gregor vorläufig auf dem Fußboden, zumal er fürchtete, der Vater könnte eine Flucht auf die Wände oder den Plafond für besondere Bosheit halten. Allerdings mußte sich Gregor sagen, daß er sogar dieses Laufen nicht lange aushalten würde, denn während der Vater einen Schritt machte, mußte er eine Unzahl von Bewegungen ausführen. Atemnot begann sich schon bemerkbar zu machen, wie er ja auch in seiner früheren Zeit keine ganz vertrauenswürdige Lunge besessen hatte. Als er nun so dahintorkelte, um alle Kräfte für den Lauf zu sammeln, kaum die Augen offenhalt; in seiner Stumpfheit an eine andere Rettung als durch Laufen gar nicht dachte; und fast schon vergessen hatte, daß ihm die Wände freistanden, die hier allerdings mit sorgfältig geschnitzten Möbeln voll Zacken und Spitzen verstellt waren – da flog knapp neben ihm, leicht geschleudert, irgendetwas nieder und rollte vor ihm her. Es war ein Apfel; gleich flog ihm ein zweiter nach; Gregor blieb vor Schrecken stehen; ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale auf der Kredenz hatte er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen aneinander. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschadlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen formlich in Gregors Rücken ein; Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen; doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. Nur mit dem letzten Blick sah er noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wurde, und vor der schreienden Schwester die Mutter hervoreilte, im Hemd, denn die Schwester hatte sie entkleidet, um ihr in der Ohnmacht Atemfreiheit zu verschaffen, wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen Rocke einer nach dem anderen zu Boden glitten, und wie sie stolpernd über die Rocke auf den Vater eindrang und ihn umarmend, in ganzlicher Vereinigung mit ihm – nun versagte aber Gregors Sehkraft schon – die Hände an des Vaters Hinterkopf um Schonung von Gregors Leben bat.

Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt – der Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleische sitzen –, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, daß Gregor trotz seiner gegenwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern dem gegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als zu dulden.

Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich für immer verloren hatte und vorläufig zur Durchquerung seines Zimmers wie ein alter Invalide lange, lange Minuten brauchte – an das Kriechen in der Höhe war nicht zu denken –, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz dadurch, daß immer gegen Abend die Wohnzimmertür, die er schon ein bis zwei Stunden vorher scharf zu beobachten pflegte, geöffnet wurde, so daß er, im Dunkel seines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganze Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden, gewissermaßen mit allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, anhören durfte.

Freilich waren es nicht mehr die lebhaften Unterhaltungen der früheren Zeiten, an die Gregor in den kleinen Hotelzimmern stets mit einigem Verlangen gedacht hatte, wenn er sich müde in das feuchte Bettzeug hatte werfen müssen. Es ging jetzt meist nur sehr still zu. Der Vater schlief bald nach dem Nachtessen in seinem Sessel ein; die Mutter und Schwester ermahnten einander zur Stille; die Mutter nahte, weit unter das Licht vorgebeugt, feine Wasche für ein Modengeschäft; die Schwester, die eine Stellung als Verkäuferin angenommen hatte, lernte am Abend Stenographie und Französisch, um vielleicht später einmal einen besseren Posten zu erreichen. Manchmal wachte der Vater auf, und als wisse er gar nicht, daß er geschlafen habe, sagte er zur Mutter: "Wie lange du heute schon wieder nahnst!" und schlief sofort wieder ein, während Mutter und Schwester einander müde zulachelten.

Mit einer Art Eigensinn weigerte sich der Vater auch, zu Hause seine Dienerruniform abzulegen; und während der Schlafrock nutzlos am Kleiderhaken hing, schlummerte der Vater vollständig angezogen auf seinem Platz, als sei er immer zu seinem Dienste bereit und warte auch hier auf die Stimme des Vorgesetzten. Infolgedessen verlor die gleich anfangs nicht neue Uniform trotz aller Sorgfalt von Mutter und Schwester an Reinlichkeit, und Gregor sah oft ganze Abende lang auf dieses über und über fleckige, mit seinen stets geputzten Goldknöpfen leuchtende Kleid, in dem der alte Mann höchst unbequem und doch ruhig schlief.

Sobald die Uhr zehn schlug, suchte die Mutter durch leise Zusprache den Vater zu wecken und dann zu überreden, ins Bett zu gehen, denn hier war es doch kein richtiger Schlaf und diesen hatte der Vater, der um sechs Uhr seinen Dienst antreten mußte, auferst nötig. Aber in dem Eigensinn, der ihn, seitdem er Diener war, ergriffen hatte, bestand er immer darauf, noch länger bei Tisch zu bleiben, trotzdem er regelmäßig einschliefe, und war dann überdies nur mit der größten Mühe zu bewegen, den Sessel mit dem Bett zu vertauschen. Da mochten Mutter und Schwester mit kleinen Ermahnungen noch so sehr auf ihn eindringen, viertelstundenlang schüttelte er langsam den Kopf, hielt die Augen geschlossen und stand nicht auf. Die Mutter zupfte ihn am Armel, sagte ihm Schmeichelworte ins Ohr, die Schwester verlieh ihre Aufgabe, um der Mutter zu helfen, aber beim Vater verfiel das nicht. Er versank nur noch tiefer in seinen Sessel. Erst bis ihn die Frauen unter den Achseln faßten, schlug er die Augen auf, sah abwechselnd die Mutter und die Schwester an und pflegte zu sagen: "Das ist ein Leben. Das ist die Ruhe meiner alten Tage." Und auf die beiden Frauen gestützt, erhob er sich, umständlich, als sei er für sich selbst die größte Last, ließ sich von den Frauen bis zur Türe führen, winkte ihnen dort ab und ging nun selbständig weiter, während die Mutter ihr Nahzeug, die Schwester ihre Feder eiligst hinwarfen, um hinter dem Vater zu laufen und ihm weiter behilflich zu sein.

Wer hatte in dieser abgearbeiteten und übermüdeten Familie Zeit, sich um Gregor mehr zu kümmern, als unbedingt nötig war? Der Haushalt wurde immer mehr eingeschränkt; das Dienstmädchen wurde nun doch entlassen; eine riesige knochige Bedienerin mit weißem, den Kopf umflatterndem Haar kam des Morgens und des Abends, um die schwerste Arbeit zu leisten; alles andere besorgte die Mutter neben ihrer vielen Naharbeit. Es geschah sogar, daß verschiedene Familienschmuckstücke, welche früher die Mutter und die Schwester überglücklich bei Unterhaltungen und Feierlichkeiten getragen hatten, verkauft wurden, wie Gregor am Abend aus der allgemeinen Besprechung der erzielten Preise erfuhr. Die größte Klage war aber stets, daß man diese für die gegenwärtigen Verhältnisse allzugroße Wohnung nicht verlassen konnte, da es nicht ausdenken war, wie man Gregor übersiedeln sollte. Aber Gregor sah wohl ein, daß es nicht nur die Rücksicht auf ihn war, welche eine Übersiedlung verhinderte, denn ihn hatte man doch in einer passenden Kiste mit ein paar Luftlöchern leicht transportieren können; was die Familie hauptsächlich vom Wohnungswechsel abhielt, war vielmehr die völlige Hoffnungslosigkeit und der Gedanke daran, daß sie mit einem Unglück geschlagen war, wie niemand sonst im ganzen Verwandten- und Bekanntenkreis. Was die Welt von armen Leuten verlangt, erfüllten sie bis zum allerersten, der Vater holte den kleinen Bankbeamten das Frühstück, die Mutter opferte sich für die Wasche fremder Leute, die Schwester lief nach dem Befehl der Kunden hinter dem Pulte hin und her, aber weiter reichten die Kräfte der Familie schon nicht. Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie neu zu schmerzen an, wenn Mutter und Schwester, nachdem sie den Vater zu Bett gebracht hatten, nun zurückkehrten, die Arbeit liegen ließen, nahe zusammenrückten, schon Wange an Wange saßen; wenn jetzt die Mutter, auf Gregors Zimmer zeigend, sagte: "Mach' dort die Tür zu, Grete," und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während nebenan die Frauen ihre Tränen vermischten oder gar tranenlos den Tisch anstarrten.

Die Nächte und Tage verbrachte Gregor fast ganz ohne Schlaf. Manchmal dachte er daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher wieder in die Hand zu nehmen; in seinen Gedanken erschienen wieder nach langer Zeit der Chef und der Prokurist, die Kommis und die Lehrlinge, der so begriffsstutzige Hausknecht, zwei drei Freunde aus anderen Geschäften, ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, eine liebe, flüchtige Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft, um die er sich ernsthaft, aber zu langsam beworben hatte – sie alle erschienen untermischt mit Fremden oder schon Vergessenen, aber statt ihm und seiner Familie zu helfen, waren sie sämtlich unzugänglich, und er war froh, wenn sie verschwanden. Dann aber war er wieder gar nicht in der Laune, sich um seine Familie zu sorgen, bloß Wut über die schlechte Wartung erfüllte ihn, und trotzdem er sich nichts vorstellen konnte, worauf er Appetit gehabt hatte, machte er doch Plane, wie er in die Speisekammer gelangen konnte, um dort zu nehmen, was ihm, auch wenn er keinen Hunger hatte, immerhin gebührte. Ohne jetzt mehr nachzudenken, womit man Gregor einen besonderen Gefallen machen konnte, schob die Schwester eiligst, ehe sie morgens und mittags ins Geschäft lief, mit dem Fuß irgendeine beliebige Speise in Gregors Zimmer hinein, um sie am Abend, gleichgültig dagegen, ob die Speise vielleicht nur verkostet oder – der häufigste Fall – gänzlich unberührt war, mit einem Schwenken des Besens hinauszukehren. Das Aufräumen des Zimmers, das sie nun immer abends besorgte, konnte gar nicht mehr schneller getan sein. Schmutzstreifen zogen sich die Wände entlang, hie und da lagen Knäuel von Staub und Unrat. In der ersten Zeit stellte sich Gregor bei der Ankunft der Schwester in derartige besonders bezeichnende Winkel, um ihr durch diese Stellung gewissermaßen einen Vorwurf zu machen. Aber er hatte wohl wochenlang dort bleiben können, ohne daß sich

die Schwester gebessert hatte; sie sah ja den Schmutz genau so wie er, aber sie hatte sich eben entschlossen, ihn zu lassen. Dabei wachte sie mit einer an ihr ganz neuen Empfindlichkeit, die überhaupt die ganze Familie ergriffen hatte, darüber, daß das Aufräumen von Gregors Zimmer ihr vorbehalten blieb. Einmal hatte die Mutter Gregors Zimmer einer großen Reinigung unterzogen, die ihr nur nach Verbrauch einiger Kubel Wasser gelungen war – die viele Feuchtigkeit krankte allerdings Gregor auch und er lag breit, verbittert und unbeweglich auf dem Kanapee –, aber die Strafe blieb für die Mutter nicht aus. Denn kaum hatte am Abend die Schwester die Veränderung in Gregors Zimmer bemerkt, als sie, aufs höchste beleidigt, ins Wohnzimmer lief und, trotz der beschworend erhobenen Hände der Mutter, in einen Weinkrampf ausbrach, dem die Eltern – der Vater war natürlich aus seinem Sessel aufgeschreckt worden – zuerst erstaunt und hilflos zusahen, bis auch sie sich zu rühren anfangen; der Vater rechts der Mutter Vorwürfe machte, daß sie Gregors Zimmer nicht der Schwester zur Reinigung überließe; links dagegen die Schwester anschrie, sie werde niemals mehr Gregors Zimmer reinigen dürfen; während die Mutter den Vater, der sich vor Erregung nicht mehr kannte, ins Schlafzimmer zu schleppen suchte; die Schwester, von Schluchzen geschüttelt, mit ihren kleinen Fausten den Tisch bearbeitete; und Gregor laut vor Wut darüber zischte, daß es keinem einfiel, die Tür zu schließen und ihm diesen Anblick und Lärm zu ersparen.

Aber selbst wenn die Schwester, erschöpft von ihrer Berufsarbeit, dessen überdrüssig geworden war, für Gregor, wie früher, zu sorgen, so hatte noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen und Gregor hatte doch nicht vernachlässigt werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin da. Diese alte Witwe, die in ihrem langen Leben mit Hilfe ihres starken Knochenbaues das Argste überstanden haben mochte, hatte keinen eigentlichen Abscheu vor Gregor. Ohne irgendwie neugierig zu sein, hatte sie zufällig einmal die Tür von Gregors Zimmer aufgemacht und war im Anblick Gregors, der, ganzlich überrascht, trotzdem ihn niemand jagte, hin und herzulaufen begann, die Hände im Schoß gefaltet staunend stehen geblieben. Seitdem versäumte sie nicht, stets flüchtig morgens und abends die Tür ein wenig zu öffnen und zu Gregor hineinzuschauen. Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich für freundlich hielt, wie "Komm mal herüber, alter Mistkafer!" oder "Seht mal den alten Mistkafer!" Auf solche Ansprachen antwortete Gregor mit nichts, sondern blieb unbeweglich auf seinem Platz, als sei die Tür gar nicht geöffnet worden. Hatte man doch dieser Bedienerin, statt sie nach ihrer Laune ihn nutzlos stören zu lassen, lieber den Befehl gegeben, sein Zimmer täglich zu reinigen! Einmal am frühen Morgen – ein heftiger Regen, vielleicht schon ein Zeichen des kommenden Frühjahrs, schlug an die Scheiben – war Gregor, als die Bedienerin mit ihren Redensarten wieder begann, derartig erbittert, daß er, wie zum Angriff, allerdings langsam und hinfällig, sich gegen sie wendete. Die Bedienerin aber, statt sich zu fürchten, hob bloß einen in der Nähe der Tür befindlichen Stuhl hoch empor, und wie sie mit groß geöffnetem Munde dastand, war ihre Absicht klar, den Mund erst zu schließen, wenn der Sessel in ihrer Hand auf Gregors Rücken niederschlagen würde. "Also weiter geht es nicht?" fragte sie, als Gregor sich wieder umdrehte, und stellte den Sessel ruhig in die Ecke zurück.

Gregor aber nun fast gar nichts mehr. Nur wenn er zufällig an der vorbereiteten Speise vorüberkam, nahm er zum Spiel einen Bissen in den Mund, hielt ihn dort stundenlang und spie ihn dann meist wieder aus. Zuerst dachte er, es sei die Trauer über den Zustand seines Zimmers, die ihn vom Essen abhalte, aber gerade mit den Veränderungen des Zimmers sohte er sich sehr bald aus. Man hatte sich angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen, und solcher Dinge gab es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hatte. Diese ernsten Herren – alle drei hatten Vollbarte, wie Gregor einmal durch eine Türspalte feststellte – waren peinlich auf Ordnung, nicht nur in ihrem Zimmer, sondern, da sie sich nun einmal hier eingemietet hatten, in der ganzen Wirtschaft, also insbesondere in der Küche, bedacht. Unnutzen oder gar schmutzigen Kram ertrugen sie nicht. Überdies hatten sie zum größten Teil ihre eigenen Einrichtungsstücke mitgebracht. Aus diesem Grunde waren viele Dinge überflüssig geworden, die zwar nicht verkauflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte. Alle diese wanderten in Gregors Zimmer. Ebenso auch die Aschenkiste und die Abfallkiste aus der Küche. Was nur im Augenblick unbrauchbar war, schleuderte die Bedienerin, die es immer sehr eilig hatte, einfach in Gregors Zimmer; Gregor sah glücklicherweise meist nur den betreffenden Gegenstand und die Hand, die ihn hielt. Die Bedienerin hatte vielleicht die Absicht, bei Zeit und Gelegenheit die Dinge wieder zu holen oder alle insgesamt mit einemmal hinauszurufen, tatsächlich aber blieben sie dort liegen, wohin sie durch den ersten Wurf gekommen waren, wenn nicht Gregor sich durch das Rumpelzeug wand und es in Bewegung brachte, zuerst gezwungen, weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, später aber mit wachsendem Vergnügen, obwohl er nach solchen Wanderungen, zum Sterben müde und traurig, wieder stundenlang sich nicht rührte.

Da die Zimmerherren manchmal auch ihr Abendessen zu Hause im gemeinsamen Wohnzimmer einnahmen, blieb die Wohnzimmertür an manchen Abenden geschlossen, aber Gregor verzichtete ganz leicht auf das Öffnen der Tür, hatte er doch schon manche Abende, an denen sie geöffnet war, nicht ausgenutzt, sondern war, ohne daß es die Familie merkte, im dunkelsten Winkel seines Zimmers gelegen. Einmal aber hatte die Bedienerin die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen gelassen, und sie blieb so offen, auch als die Zimmerherren am Abend eintraten und Licht gemacht wurde. Sie setzten sich oben an den Tisch, wo in früheren Zeiten der Vater, die Mutter und Gregor gegessen hatten, entfalteten die Servietten und nahmen Messer und Gabel in die Hand. Sofort erschien in der Tür die Mutter mit einer Schüssel Fleisch und knapp hinter ihr die Schwester mit einer Schüssel hochgeschichteter Kartoffeln. Das Essen dampfte mit starkem Rauch. Die Zimmerherren beugten sich über die vor sie hingestellten Schüsseln, als wollten sie sie vor dem Essen prüfen, und tatsächlich zerschnitt der, welcher in der Mitte saß und den anderen zwei als Autorität zu gelten schien, ein Stück Fleisch noch auf der Schüssel, offenbar um festzustellen, ob es murbe genug sei und ob es nicht etwa in die Küche zurückgeschickt werden solle. Er war befriedigt, und Mutter und Schwester, die gespannt zugesehen hatten, begannen aufatmend zu lacheln.

Die Familie selbst aber in der Küche. Trotzdem kam der Vater, ehe er in die Küche ging, in dieses Zimmer herein und machte mit einer einzigen Verbeugung, die Kappe in der Hand, einen Rundgang um den Tisch. Die Zimmerherren erhoben sich sämtlich und murmelten etwas in ihre Barte. Als sie dann allein waren, aber sie fast unter vollkommenem Stillschweigen. Sonderbar schien es Gregor, daß man aus allen mannigfachen Geräuschen des Essens immer wieder ihre kauenden Zähne heraushörte, als ob damit Gregor gezeigt werden sollte, daß man Zähne brauche, um zu essen, und daß man auch mit den schönsten zahnlosen Kiefern nichts ausrichten könne. "Ich habe ja Appetit", sagte sich Gregor sorgenvoll, "aber nicht auf diese Dinge. Wie sich diese Zimmerherren nähren, und ich komme um!"

Gerade an diesem Abend – Gregor erinnerte sich nicht, während der ganzen Zeit die Violine gehört zu haben – ertonte sie von der Küche her. Die Zimmerherren hatten schon ihr Nachtmahl beendet, der mittlere hatte eine Zeitung hervorgezogen, den zwei anderen je ein Blatt gegeben, und nun lasen sie zurückgelehnt und rauchten. Als die Violine zu spielen begann, wurden sie aufmerksam, erhoben sich und gingen auf den Fußspitzen zur Vorzimmertür, in der sie aneinandergedrängt stehen blieben. Man mußte sie von der Küche aus gehört haben, denn der Vater rief: "Ist den Herren das Spiel vielleicht unangenehm? Es kann sofort eingestellt werden." "Im Gegenteil", sagte der mittlere der Herren, "mochte das Fraulein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen, wo es doch viel bequemer und gemutlicher ist?" "O bitte", rief der Vater, als sei er der Violinspieler. Die Herren traten ins Zimmer zurück und warteten. Bald kam der Vater mit dem Notenpult, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violine. Die Schwester bereitete alles ruhig zum Spiele vor; die Eltern, die niemals früher Zimmer vermietet hatten und deshalb die Hoflichkeit

gegen die Zimmerherren ubetrieben, wagten gar nicht, sich auf ihre eigenen Sessel zu setzen; der Vater lehnte an der Tur, die rechte Hand zwischen zwei Knopfe des geschlossenen Livreeockes gesteckt; die Mutter aber erhielt von einem Herrn einen Sessel angeboten und sa?, da sie den Sessel dort lie?, wohin ihn der Herr zufällig gestellt hatte, abseits in einem Winkel.

Die Schwester begann zu spielen; Vater und Mutter verfolgten, jeder von seiner Seite, aufmerksam die Bewegungen ihrer Hande. Gregor hatte, von dem Spiele angezogen, sich ein wenig weiter vorgewagt und war schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. Er wunderte sich kaum daruber, da? er in letzter Zeit so wenig Rucksicht auf die andern nahm; fruher war diese Rucksichtnahme sein Stolz gewesen. Und dabei hatte er gerade jetzt mehr Grund gehabt, sich zu verstecken, denn infolge des Staubes, der in seinem Zimmer uberall lag und bei der kleinsten Bewegung umherflog, war auch er ganz staubbedeckt; Faden, Haare, Speiseuberreste schleppte er auf seinem Rucken und an den Seiten mit sich herum; seine Gleichgultigkeit gegen alles war viel zu gro?, als da? er sich, wie fruher mehrmals wahrend des Tages, auf den Rucken gelegt und am Teppich gescheuert hatte. Und trotz dieses Zustandes hatte er keine Scheu, ein Stuck auf dem makellosen Fu?boden des Wohnzimmers vorzurucken.

Allerdings achtete auch niemand auf ihn. Die Familie war ganzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen; die Zimmerherren dagegen, die zunachst, die Hande in den Hosentaschen, viel zu nahe hinter dem Notenpult der Schwester sich aufgestellt hatten, so da? sie alle in die Noten hatten sehen können, was sicher die Schwester storen mu?te, zogen sich bald unter halblauten Gesprachen mit gesenkten Kopfen zum Fenster zuruck, wo sie, vom Vater besorgt beobachtet, auch blieben. Es hatte nun wirklich den uberdeutlichen Anschein, als waren sie in ihrer Annahme, ein schönes oder unterhaltendes Violinspiel zu horen, enttauscht, hatten die ganze Vorfuhrung satt und lie?en sich nur aus Hoflichkeit noch in ihrer Ruhe storen. Besonders die Art, wie sie alle aus Nase und Mund den Rauch ihrer Zigarren in die Hohe bliesen, lie? auf gro?e Nervositat schlie?en. Und doch spielte die Schwester so schon. Ihr Gesicht war zur Seite geneigt, prufend und traurig folgten ihre Blicke den Notenzeilen. Gregor kroch noch ein Stuck vorwarts und hielt den Kopf eng an den Boden, um moglicherweise ihren Blicken begegnen zu können. War er ein Tier, da ihn Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten unbekanntem Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie moge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie er es lohnen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens nicht, solange er lebte; seine Schreckgestalt sollte ihm zum erstenmal nutzlich werden; an allen Turen seines Zimmers wollte er gleichzeitig sein und den Angreifern entgegenfauchen; die Schwester aber sollte nicht gezwungen, sondern freiwillig bei ihm bleiben; sie sollte neben ihm auf dem Kanapee sitzen, das Ohr zu ihm herunterneigen, und er wollte ihr dann anvertrauen, da? er die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken, und da? er dies, wenn nicht das Ungluck dazwischen gekommen ware, vergangene Weihnachten – Weihnachten war doch wohl schon voruber? – allen gesagt hatte, ohne sich um irgendwelche Widerreden zu kummern. Nach dieser Erklarung wurde die Schwester in Tranen der Ruhmung ausbrechen, und Gregor wurde sich bis zu ihrer Achsel erheben und ihren Hals küssen, den sie, seitdem sie ins Geschäft ging, frei ohne Band oder Kragen trug.

“Herr Samsa! ” rief der mittlere Herr dem Vater zu und zeigte, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, mit dem Zeigefinger auf den langsam sich vorwärtsbewegenden Gregor. Die Violine verstummte, der mittlere Zimmerherr lachte erst einmal kopfschüttelnd seinen Freunden zu und sah dann wieder auf Gregor hin. Der Vater schien es für notiger zu halten, statt Gregor zu vertreiben, vorerst die Zimmerherren zu beruhigen, trotzdem diese gar nicht aufgeregt waren und Gregor sie mehr als das Violinspiel zu unterhalten schien. Er eilte zu ihnen und suchte sie mit ausgebreiteten Armen in ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper ihnen den Ausblick auf Gregor zu nehmen. Sie wurden nun tatsächlich ein wenig böse, man wu?te nicht mehr, ob über das Benehmen des Vaters oder über die ihnen jetzt aufgehende Erkenntnis, ohne es zu wissen, einen solchen Zimmernachbar wie Gregor besessen zu haben. Sie verlangten vom Vater Erklärungen, hoben ihrerseits die Arme, zupften unruhig an ihren Bärten und wichen nur langsam gegen ihr Zimmer zurück. Inzwischen hatte die Schwester die Verlorenheit, in die sie nach dem plötzlich abgebrochenen Spiel verfallen war, überwunden, hatte sich, nachdem sie eine Zeit lang in den lassig hangenden Handen Violine und Bogen gehalten und weiter, als spiele sie noch, in die Noten gesehen hatte, mit einem Male aufgerafft, hatte das Instrument auf den Scho? der Mutter gelegt, die in Atembeschwerden mit heftig arbeitenden Lungen noch auf ihrem Sessel sa?, und war in das Nebenzimmer gelaufen, dem sich die Zimmerherren unter dem Drängen des Vaters schon schneller naherten. Man sah, wie unter den gebeugten Handen der Schwester die Decken und Polster in den Betten in die Hohe flogen und sich ordneten. Noch ehe die Herren das Zimmer erreicht hatten, war sie mit dem Aufbetten fertig und schlupfte heraus. Der Vater schien wieder von seinem Eigensinn derartig ergriffen, da? er jeden Respekt verga?, den er seinen Mietern immerhin schuldete. Er drangte nur und drangte, bis schon in der Tur des Zimmers der mittlere der Herren donnernd mit dem Fu? aufstampfte und dadurch den Vater zum Stehen brachte. “Ich erkläre hiermit”, sagte er, hob die Hand und suchte mit den Blicken auch die Mutter und die Schwester, “da? ich mit Rucksicht auf die in dieser Wohnung und Familie herrschenden widerlichen Verhältnisse” – hiebei spie er kurz entschlossen auf den Boden – “mein Zimmer augenblicklich kundige. Ich werde natürlich auch für die Tage, die ich hier gewohnt habe, nicht das Geringste bezahlen, dagegen werde ich es mir noch überlegen, ob ich nicht mit irgendwelchen – glauben Sie mir – sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen Sie auftreten werde.” Er schwieg und sah gerade vor sich hin, als erwarte er etwas. Tatsächlich fielen sofort seine zwei Freunde mit den Worten ein: “Auch wir kundigen augenblicklich.” Darauf fa?te er die Turklinke und schlo? mit einem Krach die

Tur.

Der Vater wankte mit tastenden Handen zu seinem Sessel und lie? sich in ihn fallen; es sah aus, als strecke er sich zu seinem gewöhnlichen Abendschlafchen, aber das starke Nicken seines wie haltlosen Kopfes zeigte, da? er ganz und gar nicht schlief. Gregor war die ganze Zeit still auf dem Platz gelegen, auf dem ihn die Zimmerherren ertappt hatten. Die Enttäuschung über das Mi?lingen seines Planes, vielleicht aber auch die durch das viele Hungern verursachte Schwache machten es ihm unmöglich, sich zu bewegen. Er furchtete mit einer gewissen Bestimmtheit schon für den nächsten Augenblick einen allgemeinen über ihn sich entladenden Zusammensturz und wartete. Nicht einmal die Violine schreckte ihn auf, die, unter den zitternden Fingern der Mutter hervor, ihr vom Scho?e fiel und einen hallenden Ton von sich gab.

“Liebe Eltern”, sagte die Schwester und schlug zur Einleitung mit der Hand auf den Tisch, “so geht es nicht weiter. Wenn ihr das vielleicht nicht einsehet, ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen, und sage daher blo?: wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und zu dulden, ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen.“

“Sie hat tausendmal Recht”, sagte der Vater für sich. Die Mutter, die noch immer nicht genug Atem finden konnte, fing in die vorgehaltene Hand mit einem irrsinnigen Ausdruck der Augen dumpf zu husten an.

Die Schwester eilte zur Mutter und hielt ihr die Stirn. Der Vater schien durch die Worte der Schwester auf bestimmtere Gedanken gebracht zu sein, hatte sich aufrecht gesetzt, spielte mit seiner Dienernutze zwischen den Tellern, die noch vom Nachtmahl der Zimmerherren her auf dem Tische lagen, und sah bisweilen auf den stillen Gregor hin.

“Wir müssen es loszuwerden suchen”, sagte die Schwester nun ausschließ?lich zum Vater, denn die Mutter horte in ihrem Husten nichts, “es bringt euch noch beide um, ich sehe es kommen. Wenn man schon so schwer arbeiten mu?, wie wir alle, kann man nicht noch zu Hause diese ewige Qualerei ertragen. Ich kann es auch nicht mehr.” Und sie brach so heftig in Weinen aus, da? ihre Tränen auf das Gesicht der Mutter niederflossen, von dem sie sie mit mechanischen Handbewegungen wischte.

“Kind”, sagte der Vater mitleidig und mit auffallendem Verstandnis, “was sollen wir aber tun?”

Die Schwester zuckte nur die Achseln zum Zeichen der Ratlosigkeit, die sie nun während des Weinens im Gegensatz zu ihrer fruheren Sicherheit ergriffen hatte.

“Wenn er uns verstunde”, sagte der Vater halb fragend; die Schwester schüttelte aus dem Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen, da? daran nicht zu denken sei.

“Wenn er uns verstunde”, wiederholte der Vater und nahm durch Schlie?en der Augen die Überzeugung der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf, “dann ware vielleicht ein Ubereinkommen mit ihm möglich. Aber so – “

“Weg mu? es”, rief die Schwester, “das ist das einzige Mittel, Vater. Du mu?t blo? den Gedanken loszuwerden suchen, da? es Gregor ist. Da? wir es solange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn Gregor sein? Wenn es Gregor ware, er hatte langst eingesehen, da? ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, und ware freiwillig fortgegangen. Wir hatten dann keinen Bruder, aber konnten weiter leben und sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren, will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse ubernachten lassen. Sieh nur, Vater”, schrie sie plötzlich auf, “er fangt schon wieder an!” Und in einem fur Gregor ganzlich unverständlichen Schrecken verlie? die Schwester sogar die Mutter, stie? sich formlich von ihrem Sessel ab, als wollte sie lieber die Mutter opfern, als in Gregors Nahe bleiben, und eilte hinter den Vater, der, lediglich durch ihr Benehmen erregt, auch aufstand und die Arme wie zum Schutze der Schwester vor ihr halb erhob.

Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgend jemandem und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen. Er hatte blo? angefangen sich umzudrehen, um in sein Zimmer zuruckzuwandern, und das nahm sich allerdings auffallend aus, da er infolge seines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopfe nachhelfen mu?te, den er hierbei viele Male hob und gegen den Boden schlug. Er hielt inne und sah sich um. Seine gute Absicht schien erkannt worden zu sein; es war nur ein augenblicklicher Schrecken gewesen. Nun sahen ihn alle schweigend und traurig an. Die Mutter lag, die Beine ausgestreckt und aneinandergedrückt, in ihrem Sessel, die Augen fielen ihr vor Ermattung fast zu; der Vater und die Schwester sa?en nebeneinander, die Schwester hatte ihre Hand um des Vaters Hals gelegt.

“Nun darf ich mich schon vielleicht umdrehen”, dachte Gregor und begann seine Arbeit wieder. Er konnte das Schnaufen der Anstrengung nicht unterdrücken und mu?te auch hie und da ausruhen. Im ubrigen drangte ihn auch niemand, es war alles ihm selbst ubelassen. Als er die Umdrehung vollendet hatte, fing er sofort an, geradeaus zuruckzuwandern. Er staunte über die gro?e Entfernung, die ihn von seinem Zimmer trennte, und begriff gar nicht, wie er bei seiner Schwache vor kurzer Zeit den gleichen Weg, fast ohne es zu merken, zuruckgelegt hatte. Immerfort nur auf rasches Kriechen bedacht, achtete er kaum darauf, da? kein Wort, kein Ausruf seiner Familie ihn storte. Erst als er schon in der Tur war, wendete er den Kopf, nicht vollstandig, denn er fühlte den Hals steif werden, immerhin sah er noch, da? sich hinter ihm nichts verändert hatte, nur die Schwester war aufgestanden. Sein letzter Blick streifte die Mutter, die nun vollig eingeschlafen war.

Kaum war er innerhalb seines Zimmers, wurde die Tur eiligst zgedrückt, festgeriegelt und versperrt. Über den plotzlichen Larm hinter sich erschrak Gregor so, da? ihm die Beinchen einknickten. Es war die Schwester, die sich so beeilt hatte. Aufrecht war sie schon da gestanden und hatte gewartet, leichtfu?ig war sie dann vorwartsgesprungen, Gregor hatte sie gar nicht kommen horen, und ein “Endlich!” rief sie den Eltern zu, während sie den Schlüssel im Schlo? umdrehte.

“Und jetzt?” fragte sich Gregor und sah sich im Dunkeln um. Er machte bald die Entdeckung, da? er sich nun überhaupt nicht mehr ruhren konnte. Er wunderte sich darüber nicht, eher kam es ihm unnatürlich vor, da? er sich bis jetzt tatsachlich mit diesen dunnen Beinchen hatte fortbewegen können. Im ubrigen fühlte er sich verhaltenisma?ig behaglich. Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als wurden sie allmahlich schwacher und schwacher und wurden schlie?lich ganz vergehen. Den verfaulten Apfel in seinem Rucken und die entzündete Umgebung, die ganz von weichem Staub bedeckt waren, spürte er schon kaum. An seine Familie dachte er mit Ruhrgung und Liebe zuruck. Seine Meinung darüber, da? er verschwinden musste, war womöglich noch entschiedener, als die seiner Schwester. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er, bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug. Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens drau?en vor dem Fenster erlebte er noch. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen ganzlich nieder, und aus seinen Nustern strömte sein letzter Atem schwach hervor.

Als am fruhen Morgen die Bedienerin kam – vor lauter Kraft und Eile schlug sie, wie oft man sie auch schon gebeten hatte, das zu vermeiden, alle Turen derartig zu, da? in der ganzen Wohnung von ihrem Kommen an kein ruhiger Schlaf mehr möglich war –, fand sie bei ihrem gewöhnlichen kurzen Besuch an Gregor zuerst nichts Besonderes. Sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten; sie traute ihm allen möglichen Verstand zu. Weil sie zufällig den langen Besen in der Hand hielt, suchte sie mit ihm Gregor von der Tur aus zu kitzeln. Als sich auch da kein Erfolg zeigte, wurde sie argerlich und stie? ein wenig in Gregor hinein, und erst als sie ihn ohne jeden Widerstand von seinem Platze geschoben hatte, wurde sie aufmerksam. Als sie bald den wahren Sachverhalt erkannte, machte sie gro?e Augen, piff vor sich hin, hielt sich aber nicht lange auf, sondern ri? die Tur des Schlafzimmers auf und rief mit lauter Stimme in das Dunkel hinein: “Sehen Sie nur mal an, es ist krepirt; da liegt es, ganz und gar krepirt!”

Das Ehepaar Samsa sa? im Ehebett aufrecht da und hatte zu tun, den Schrecken über die Bedienerin zu verwinden, ehe es dazu kam, ihre Meldung aufzufassen. Dann aber stiegen Herr und Frau Samsa, jeder auf seiner Seite, eiligst aus dem Bett, Herr Samsa warf die Decke über seine Schultern, Frau Samsa kam nur im Nachthemd hervor; so traten sie in Gregors Zimmer. Inzwischen hatte sich auch die Tur des Wohnzimmers geoffnet, in dem Grete seit dem Einzug der Zimmerherren schlief; sie war vollig angezogen, als hatte sie gar nicht geschlafen, auch

Ihr bleiches Gesicht schien das zu bezeugen. "Tot?" sagte Frau Samsa und sah fragend zur Bedienerin auf, trotzdem sie doch alles selbst prüfen und sogar ohne Prüfung erkennen konnte. "Das will ich meinen", sagte die Bedienerin und stieg zum Beweis Gregors Leiche mit dem Besen noch ein großes Stück seitwärts. Frau Samsa machte eine Bewegung, als wolle sie den Besen zurückhalten, tat es aber nicht. "Nun", sagte Herr Samsa, "jetzt können wir Gott danken." Er bekreuzte sich, und die drei Frauen folgten seinem Beispiel. Grete, die kein Auge von der Leiche wendete, sagte: "Seht nur, wie mager er war. Er hat ja auch schon so lange Zeit nichts gegessen. So wie die Speisen hereinkamen, sind sie wieder hinausgegangen." Tatsächlich war Gregors Körper vollständig flach und trocken, man erkannte das eigentlich erst jetzt, da er nicht mehr von den Beinchen gehoben war und auch sonst nichts den Blick ablenkte.

"Komm, Grete, auf ein Weilchen zu uns herein", sagte Frau Samsa mit einem wehmütigen Lächeln, und Grete ging, nicht ohne nach der Leiche zurückzusehen, hinter den Eltern in das Schlafzimmer. Die Bedienerin schloß die Tür und öffnete ganzlich das Fenster. Trotz des frühen Morgens war der frischen Luft schon etwas Lauigkeit beigemischt. Es war eben schon Ende März.

Aus ihrem Zimmer traten die drei Zimmerherren und sahen sich erstaunt nach ihrem Frühstück um; man hatte sie vergessen. "Wo ist das Frühstück?" fragte der mittlere der Herren murrisch die Bedienerin. Diese aber legte den Finger an den Mund und winkte dann hastig und schweigend den Herren zu, sie mochten in Gregors Zimmer kommen. Sie kamen auch und standen dann, die Hände in den Taschen ihrer etwas abgenutzten Rockchen, in dem nun schon ganz hellen Zimmer um Gregors Leiche herum.

Da öffnete sich die Tür des Schlafzimmers, und Herr Samsa erschien in seiner Livree an einem Arm seine Frau, am anderen seine Tochter. Alle waren ein wenig verweint; Grete drückte bisweilen ihr Gesicht an den Arm des Vaters.

"Verlassen Sie sofort meine Wohnung!" sagte Herr Samsa und zeigte auf die Tür, ohne die Frauen von sich zu lassen. "Wie meinen Sie das?" sagte der mittlere der Herren etwas bestürzt und lachelte süßlich. Die zwei anderen hielten die Hände auf dem Rücken und rieben sie ununterbrochen aneinander, wie in freudiger Erwartung eines großen Streites, der aber für sie günstig ausfallen mußte. "Ich meine es genau so, wie ich es sage", antwortete Herr Samsa und ging in einer Linie mit seinen zwei Begleiterinnen auf den Zimmerherrn zu. Dieser stand zuerst still da und sah zu Boden, als ob sich die Dinge in seinem Kopf zu einer neuen Ordnung zusammenstellten. "Dann gehen wir also", sagte er dann und sah zu Herrn Samsa auf, als verlange er in einer plötzlich ihn überkommenden Demut sogar für diesen Entschluß eine neue Genehmigung. Herr Samsa nickte ihm bloß mehrmals kurz mit großen Augen zu. Daraufhin ging der Herr tatsächlich sofort mit langen Schritten ins Vorzimmer; seine beiden Freunde hatten schon ein Weilchen lang mit ganz ruhigen Händen aufgehört und hupften ihm jetzt geradezu nach, wie in Angst, Herr Samsa konnte vor ihnen ins Vorzimmer eintreten und die Verbindung mit ihrem Führer storen. Im Vorzimmer nahmen alle drei die Hüte vom Kleiderrechen, zogen ihre Stöcke aus dem Stockhalter, verbeugten sich stumm und verließen die Wohnung. In einem, wie sich zeigte, ganzlich unbegründeten Mißtrauen trat Herr Samsa mit den zwei Frauen auf den Vorplatz hinaus; an das Geländer gelehnt, sahen sie zu, wie die drei Herren zwar langsam, aber ständig die lange Treppe hinunterstiegen, in jedem Stockwerk in einer bestimmten Biegung des Treppenhauses verschwanden und nach ein paar Augenblicken wieder hervorkamen; je tiefer sie gelangten, desto mehr verlor sich das Interesse der Familie Samsa für sie, und als ihnen entgegen und dann hoch über sie hinweg ein Fleischergeselle mit der Trage auf dem Kopf in stolzer Haltung heraufstieg, verließ bald Herr Samsa mit den Frauen das Geländer, und alle kehrten, wie erleichtert, in ihre Wohnung zurück.

Sie beschlossen, den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazierengehen zu verwenden; sie hatten diese Arbeitsunterbrechung nicht nur verdient, sie brauchten sie sogar unbedingt. Und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben drei Entschuldigungsbriefe, Herr Samsa an seine Direktion, Frau Samsa an ihren Auftraggeber, und Grete an ihren Prinzipal. Während des Schreibens kam die Bedienerin herein, um zu sagen, daß sie fortgehe, denn ihre Morgenarbeit war beendet. Die drei Schreibenden nickten zuerst bloß, ohne aufzuschauen, erst als die Bedienerin sich immer noch nicht entfernen wollte, sah man ärgerlich auf. "Nun?" fragte Herr Samsa. Die Bedienerin stand lachend in der Tür, als habe sie der Familie ein großes Glück zu melden, werde es aber nur dann tun, wenn sie gründlich ausgefragt werde. Die fast aufrechte kleine Straußfeder auf ihrem Hut, über die sich Herr Samsa schon während ihrer ganzen Dienstzeit argerte, schwankte leicht nach allen Richtungen. "Also was wollen Sie eigentlich?" fragte Frau Samsa, vor welcher die Bedienerin noch am meisten Respekt hatte. "Ja", antwortete die Bedienerin und konnte vor freundlichem Lachen nicht gleich weiter reden, "also darüber, wie das Zeug von nebenan weggeschafft werden soll, müssen Sie sich keine Sorge machen. Es ist schon in Ordnung." Frau Samsa und Grete beugten sich zu ihren Briefen nieder, als wollten sie weiterschreiben; Herr Samsa, welcher merkte, daß die Bedienerin nun alles ausführlich zu beschreiben anfangen wollte, wehrte dies mit ausgestreckter Hand entschieden ab. Da sie aber nicht erzählen durfte, erinnerte sie sich an die große Eile, die sie hatte, rief offenbar beleidigt: "Adjes allseits", drehte sich wild um und verließ unter furchterlichem Turezuschlagen die Wohnung.

"Abends wird sie entlassen", sagte Herr Samsa, bekam aber weder von seiner Frau, noch von seiner Tochter eine Antwort, denn die Bedienerin schien ihre kaum gewonnene Ruhe wieder gestört zu haben. Sie erhoben sich, gingen zum Fenster und blieben dort, sich umschlungen haltend. Herr Samsa drehte sich in seinem Sessel nach ihnen um und beobachtete sie still ein Weilchen. Dann rief er: "Also kommt doch her. Laßt schon endlich die alten Sachen. Und nehmt auch ein wenig Rücksicht auf mich." Gleich folgten ihm die Frauen, eilten zu ihm, liebkosten ihn und beendeten rasch ihre Briefe.

Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten, und fuhren mit der Elektrischen ins Freie vor die Stadt. Der Wagen, in dem sie allein saßen, war ganz von warmer Sonne durchschienen. Sie besprachen, bequem auf ihren Sitzen zurückgelehnt, die Aussichten für die Zukunft, und es fand sich, daß diese bei näherer Betrachtung durchaus nicht schlecht waren, denn aller drei Anstellungen waren, worüber sie einander eigentlich noch gar nicht ausgefragt hatten, überaus günstig und besonders für später vielversprechend. Die größte augenblickliche Besserung der Lage mußte sich natürlich leicht durch einen Wohnungswechsel ergeben; sie wollten nun eine kleinere und billigere, aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen, als es die jetzige, noch von Gregor ausgesuchte war. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und uppigen Mädchen aufgeblüht war. Stiller werdend und fast unbewußt durch Blicke sich verständigend, dachten sie daran, daß es nun Zeit sein werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Traume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte.

3. IN DER STRAFKOLONIE

"Es ist ein eigentümlicher Apparat", sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden

Blick den ihm doch wohlbekanntesten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit die Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal außer dem Offizier und dem Reisenden nur der Verurteilte, ein stumpfsinniger, breitmauliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht und ein Soldat zugegen, der die schwere Kette hielt, in welche die kleinen Ketten ausliefen, mit denen der Verurteilte an den Fuß- und Handknochen sowie am Hals gefesselt war und die auch untereinander durch Verbindungsketten zusammenhingen. Übrigens sah der Verurteilte so hundisch ergeben aus, daß es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme.

Der Reisende hatte wenig Sinn für den Apparat und ging hinter dem Verurteilten fast sichtbar unbeteiligt auf und ab, während der Offizier die letzten Vorbereitungen besorgte, bald unter den tief in die Erde eingebauten Apparat kroch, bald auf eine Leiter stieg, um die oberen Teile zu untersuchen. Das waren Arbeiten, die man eigentlich einem Maschinisten hatte überlassen können, aber der Offizier führte sie mit einem großen Eifer aus, sei es, daß er ein besonderer Anhänger dieses Apparates war, sei es, daß man aus anderen Gründen die Arbeit sonst niemandem anvertrauen konnte. „Jetzt ist alles fertig!“ rief er endlich und stieg von der Leiter hinunter. Er war ungemein ermattet, atmete mit weit offenem Mund und hatte zwei zarte Damentaschentücher hinter den Uniformkragen gezwängt. „Diese Uniformen sind doch für die Tropen zu schwer“, sagte der Reisende, statt sich, wie es der Offizier erwartet hatte, nach dem Apparat zu erkundigen. „Gewiß?“, sagte der Offizier und wusch sich die von Öl und Fett beschmutzten Hände in einem bereitstehenden Wasserkubel, „aber sie bedeuten die Heimat; wir wollen nicht die Heimat verlieren. – Nun sehen Sie aber diesen Apparat“, fugte er gleich hinzu, trocknete die Hände mit einem Tuch und zeigte gleichzeitig auf den Apparat. „Bis jetzt war noch Handarbeit nötig, von jetzt aber arbeitet der Apparat ganz allein.“ Der Reisende nickte und folgte dem Offizier. Dieser suchte sich für alle Zwischenfälle zu sichern und sagte dann: „Es kommen natürlich Störungen vor; ich hoffe zwar, es wird heute keine eintreten, immerhin muß man mit ihnen rechnen. Der Apparat soll ja zwölf Stunden ununterbrochen im Gang sein. Wenn aber auch Störungen vorkommen, so sind es doch nur ganz kleine und sie werden sofort behoben sein.“

„Wollen Sie sich nicht setzen?“ fragte er schließlich, zog aus einem Haufen von Rohrstühlen einen hervor und bot ihn dem Reisenden an; dieser konnte nicht ablehnen. Er saß nun am Rande einer Grube, in die er einen fluchtigen Blick warf. Sie war nicht sehr tief. Zur einen Seite der Grube war die ausgegrabene Erde zu einem Wall aufgehaut, zur anderen Seite stand der Apparat. „Ich weiß nicht“, sagte der Offizier, „ob Ihnen der Kommandant den Apparat schon erklärt hat.“ Der Reisende machte eine ungewisse Handbewegung; der Offizier verlangte nichts Besseres, denn nun konnte er selbst den Apparat erklären. „Dieser Apparat“, sagte er und faßte eine Kurbelstange, auf die er sich stützte, „ist eine Erfindung unseres früheren Kommandanten. Ich habe gleich bei den allerersten Versuchen mitgearbeitet und war auch bei allen Arbeiten bis zur Vollendung beteiligt. Das Verdienst der Erfindung allerdings gebührt ihm ganz allein. Haben Sie von unserem früheren Kommandanten gehört? Nicht? Nun, ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, daß die Einrichtung der ganzen Strafkolonie sein Werk ist. Wir, seine Freunde, wußten schon bei seinem Tod, daß die Einrichtung der Kolonie so in sich geschlossen ist, daß sein Nachfolger, und habe er tausend neue Pläne im Kopf, wenigstens während vieler Jahre nichts von dem Alten wird ändern können. Unsere Voraussage ist auch eingetroffen; der neue Kommandant hat es erkennen müssen. Schade, daß Sie den früheren Kommandanten nicht gekannt haben! – Aber“, unterbrach sich der Offizier, „ich schwatze, und sein Apparat steht hier vor uns. Er besteht, wie Sie sehen, aus drei Teilen. Es haben sich im Laufe der Zeit für jeden dieser Teile gewissermaßen volkstümliche Bezeichnungen ausgebildet. Der untere heißt das Bett, der obere heißt der Zeichner, und hier der mittlere, schwebende Teil heißt die Egge.“ „Die Egge?“ fragte der Reisende. Er hatte nicht ganz aufmerksam zugehört, die Sonne verfiel sich allzustark in dem schattenlosen Tal, man konnte schwer seine Gedanken sammeln. Um so bewundernswerter erschien ihm der Offizier, der im engen, paradematischen, mit Epauletten beschwerten, mit Schnuren behängten Waffenrock so eifrig seine Sache erklärte und außerdem, während er sprach, mit einem Schraubendreher noch hier und da an einer Schraube sich zu schaffen machte. In ähnlicher Verfassung wie der Reisende schien der Soldat zu sein. Er hatte um beide Handgelenke die Kette des Verurteilten gewickelt, stützte sich mit einer Hand auf sein Gewehr, ließ den Kopf im Genick hinunterhängen und kümmerte sich um nichts. Der Reisende wunderte sich nicht darüber, denn der Offizier sprach französisch und französisch verstand gewiß weder der Soldat noch der Verurteilte. Um so auffälliger war es allerdings, daß der Verurteilte sich dennoch bemühte, den Erklärungen des Offiziers zu folgen. Mit einer Art schlafriger Beharrlichkeit richtete er die Blicke immer dorthin, wohin der Offizier gerade zeigte, und als dieser jetzt vom Reisenden mit einer Frage unterbrochen wurde, sah auch er, ebenso wie der Offizier, den Reisenden an.

„Ja, die Egge“, sagte der Offizier, „der Name paßt. Die Nadeln sind eggenartig angeordnet, auch wird das Ganze wie eine Egge geführt, wenn auch bloß auf einem Platz und viel kunstgemäßer. Sie werden es übrigens gleich verstehen. Hier auf das Bett wird der Verurteilte gelegt. – Ich will nämlich den Apparat zuerst beschreiben und dann erst die Prozedur selbst ausführen lassen. Sie werden ihr dann besser folgen können. Auch ist ein Zahnrad im Zeichner zu stark abgeschliffen; es kreischt sehr, wenn es im Gang ist; man kann sich dann kaum verständigen; Ersatzteile sind hier leider nur schwer zu beschaffen. – Also hier ist das Bett, wie ich sagte. Es ist ganz und gar mit einer Watteschicht bedeckt; den Zweck dessen werden Sie noch erfahren. Auf diese Watta wird der Verurteilte bauchlings gelegt, natürlich nackt; hier sind für die Hände, hier für die Füße, hier für den Hals Riemen, um ihn festzuschallen. Hier am Kopfende des Bettes, wo der Mann, wie ich gesagt habe, zuerst mit dem Gesicht aufliegt, ist dieser kleine Filzstumpf, der leicht so reguliert werden kann, daß er dem Mann gerade in den Mund dringt. Er hat den Zweck, am Schreien und am Zerbeißen der Zunge zu hindern. Natürlich muß der Mann den Filz aufnehmen, da ihm sonst durch den Halsriemen das Genick gebrochen wird.“ „Das ist Watta?“ fragte der Reisende und beugte sich vor. „Ja gewiß“, sagte der Offizier lachend, „befehlen Sie es selbst.“ Er faßte die Hand des Reisenden und führte sie über das Bett hin. „Es ist eine besonders präparierte Watta, darum sieht sie so unkenntlich aus; ich werde auf ihren Zweck noch zu sprechen kommen.“ Der Reisende war schon ein wenig für den Apparat gewonnen; die Hand zum Schutz gegen die Sonne über den Augen, sah er an dem Apparat in die Höhe. Es war ein großer Aufbau. Das Bett und der Zeichner hatten gleichen Umfang und sahen wie zwei dunkle Truhen aus. Der Zeichner war etwa zwei Meter über dem Bett angebracht; beide waren in den Ecken durch vier Messingstangen verbunden, die in der Sonne fast Strahlen warfen. Zwischen den Truhen schwebte an einem Stahlband die Egge.

Der Offizier hatte die frühere Gleichgültigkeit des Reisenden kaum bemerkt, wohl aber hatte er für sein jetzt beginnendes Interesse Sinn; er setzte deshalb in seinen Erklärungen aus, um dem Reisenden zur ungestörten Betrachtung Zeit zu lassen. Der Verurteilte ahmte den Reisenden nach; da er die Hand nicht über die Augen legen konnte, blinzelte er mit freien Augen zur Höhe.

„Nun liegt also der Mann“, sagte der Reisende, lehnte sich im Sessel zurück und kreuzte die Beine.

„Ja“, sagte der Offizier, schob ein wenig die Mutze zurück und fuhr sich mit der Hand über das heiße Gesicht, „nun hören Sie! Sowohl das Bett, als auch der Zeichner haben ihre eigene elektrische Batterie; das Bett braucht sie für sich selbst, der Zeichner für die Egge. Sobald der Mann

festgeschmalt ist, wird das Bett in Bewegung gesetzt. Es zittert in winzigen, sehr schnellen Zuckungen gleichzeitig seitlich, wie auch auf und ab. Sie werden ähnliche Apparate in Heilanstalten gesehen haben; nur sind bei unserem Bett alle Bewegungen genau berechnet; sie müssen nämlich peinlich auf die Bewegungen der Egge abgestimmt sein. Dieser Egge aber ist die eigentliche Ausführung des Urteils überlassen.”

“Wie lautet denn das Urteil?” fragte der Reisende. “Sie wissen auch das nicht?” sagte der Offizier erstaunt und bi? sich auf die Lippen: “Verzeihen Sie, wenn vielleicht meine Erklärungen ungeordnet sind; ich bitte Sie sehr um Entschuldigung. Die Erklärungen pflegte früher nämlich der Kommandant zu geben; der neue Kommandant aber hat sich dieser Ehrenpflicht entzogen; da? er jedoch einen so hohen Besuch” – der Reisende suchte die Ehrung mit beiden Händen abzuwehren, aber der Offizier bestand auf dem Ausdruck – “einen so hohen Besuch nicht einmal von der Form unseres Urteils in Kenntnis setzt, ist wieder eine Neuerung, die –“, er hatte einen Fluch auf den Lippen, fa?te sich aber und sagte nur: “Ich wurde nicht davon verstandigt, mich trifft nicht die Schuld. Ubrigens bin ich allerdings am besten befähigt, unsere Urteilsarten zu erklären, denn ich trage hier” – er schlug auf seine Brusttasche – “die betreffenden Handzeichnungen des früheren Kommandanten. “

“Handzeichnungen des Kommandanten selbst” fragte der Reisende: “Hat er denn alles in sich vereinigt? War er Soldat, Richter, Konstrukteur, Chemiker, Zeichner?”

“Jawohl”, sagte der Offizier kopfnickend, mit starrem, nachdenklichem Blick. Dann sah er prüfend seine Hände an; sie schienen ihm nicht rein genug, um die Zeichnungen anzufassen; er ging daher zum Kubel und wusch sie nochmals. Dann zog er eine kleine Ledermappe hervor und sagte: “Unser Urteil klingt nicht streng. Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben. Diesem Verurteilten zum Beispiel” – der Offizier zeigte auf den Mann – “wird auf den Leib geschrieben werden: Ehre deinen Vorgesetzten! “

Der Reisende sah flüchtig auf den Mann hin; er hielt, als der Offizier auf ihn gezeigt hatte, den Kopf gesenkt und schien alle Kraft des Gehors anzuspinnen, um etwas zu erfahren. Aber die Bewegungen seiner wulstig aneinander gedruckten Lippen zeigten offenbar, da? er nichts verstehen konnte. Der Reisende hatte Verschiedenes fragen wollen, fragte aber im Anblick des Mannes nur: “Kennt er sein Urteil” “Nein”, sagte der Offizier und wollte gleich in seinen Erklärungen fortfahren, aber der Reisende unterbrach ihn: “Er kennt sein eigenes Urteil nicht” “Nein”, sagte der Offizier wieder, stockte dann einen Augenblick, als verlange er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage, und sagte dann: “Es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib.” Der Reisende wollte schon verstummen, da fühlte er, wie der Verurteilte seinen Blick auf ihn richtete; er schien zu fragen, ob er den geschilderten Vorgang billigen könne. Darum beugte sich der Reisende, der sich bereits zurückgelehnt hatte, wieder vor und fragte noch: “Aber da? er überhaupt verurteilt wurde, das wei? er doch?” “Auch nicht”, sagte der Offizier und lachelte den Reisenden an, als erwarte er nun von ihm noch einige sonderbare Eröffnungen. “Nein”, sagte der Reisende und strich sich über die Stirn hin, “dann wei? also der Mann auch jetzt noch nicht, wie seine Verteidigung aufgenommen wurde?” “Er hat keine Gelegenheit gehabt, sich zu verteidigen”, sagte der Offizier und sah abseits, als rede er zu sich selbst und wolle den Reisenden durch Erzählung dieser ihm selbstverständlichen Dinge nicht beschämen. “Er mu? doch Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen”, sagte der Reisende und stand vom Sessel auf.

Der Offizier erkannte, da? er in Gefahr war, in der Erklärung des Apparates für lange Zeit aufgehalten zu werden; er ging daher zum Reisenden, hing sich in seinen Arm, zeigte mit der Hand auf den Verurteilten, der sich jetzt, da die Aufmerksamkeit so offenbar auf ihn gerichtet war, stramm aufstellte – auch zog der Soldat die Kette an –, und sagte: “Die Sache verhält sich folgenderma?en. Ich bin hier in der Strafkolonie zum Richter bestellt. Trotz meiner Jugend. Denn ich stand auch dem früheren Kommandanten in allen Strafsachen zur Seite und kenne auch den Apparat am besten. Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist: Die Schuld ist immer zweifellos. Andere Gerichte können diesen Grundsatz nicht befolgen, denn sie sind vielköpfig und haben auch noch höhere Gerichte über sich. Das ist hier nicht der Fall, oder war es wenigstens nicht beim früheren Kommandanten. Der neue hat allerdings schon Lust gezeigt, in mein Gericht sich einzumischen, es ist mir aber bisher gelungen, ihn abzuwehren, und wird mir auch weiter gelingen. – Sie wollten diesen Fall erklärt haben; er ist so einfach, wie alle. Ein Hauptmann hat heute morgens die Anzeige erstattet, da? dieser Mann, der ihm als Diener zugeteilt ist und vor seiner Türe schläft, den Dienst verschlafen hat. Er hat nämlich die Pflicht, bei jedem Stundenschlag aufzustehen und vor der Tür des Hauptmanns zu salutieren. Gewi? keine schwere Pflicht und eine notwendige, denn er soll sowohl zur Bewachung als auch zur Bedienung frisch bleiben. Der Hauptmann wollte in der gestrigen Nacht nachsehen, ob der Diener seine Pflicht erfülle. Er öffnete Schlag zwei Uhr die Tür und fand ihn zusammengekrummt schlafen. Er holte die Reitpeitsche und schlug ihm über das Gesicht. Statt nun aufzustehen und um Verzeihung zu bitten, fa?te der Mann seinen Herrn bei den Beinen, schüttelte ihn und rief: >Wirf die Peitsche weg, oder ich fresse dich.< – Das ist der Sachverhalt. Der Hauptmann kam vor einer Stunde zu mir, ich schrieb seine Angaben auf und anschlie?end gleich das Urteil. Dann lie? ich dem Mann die Ketten anlegen. Das alles war sehr einfach. Hatte ich den Mann zuerst vorgerufen und ausgefragt, so wäre nur Verwirrung entstanden. Er hatte gelogen, hatte, wenn es mir gelungen wäre, die Lügen zu widerlegen, diese durch neue Lügen ersetzt und so fort. Jetzt aber halte ich ihn und lasse ihn nicht mehr. – Ist nun alles erklärt? Aber die Zeit vergeht, die Exekution sollte schon beginnen, und ich bin mit der Erklärung des Apparates noch nicht fertig.” Er notigte den Reisenden auf den Sessel nieder, trat wieder zu dem Apparat und begann: “Wie Sie sehen, entspricht die Egge der Form des Menschen; hier ist die Egge für den Oberkörper, hier sind die Eggen für die Beine. Für den Kopf ist nur dieser kleine Stichel bestimmt. Ist Ihnen das klar?” Er beugte sich freundlich zu dem Reisenden vor, bereit zu den umfassendsten Erklärungen.

Der Reisende sah mit gerunzelter Stirn die Egge an. Die Mitteilungen über das Gerichtsverfahren hatten ihn nicht befriedigt. Immerhin mu?te er sich sagen, da? es sich hier um eine Strafkolonie handelte, da? hier besondere Ma?regeln notwendig waren und da? man bis zum letzten militärisch vorgehen mu?te. Au?erdem aber setzte er einige Hoffnung auf den neuen Kommandanten, der offenbar, allerdings langsam, ein neues Verfahren einzuführen beabsichtigte, das dem beschränkten Kopf dieses Offiziers nicht eingehen konnte. Aus diesem Gedankengang heraus fragte der Reisende: “Wird der Kommandant der Exekution beiwohnen?” “Es ist nicht gewi?”, sagte der Offizier, durch die unvermittelte Frage peinlich berührt, und seine freundliche Miene verzerrte sich: “Gerade deshalb müssen wir uns beeilen. Ich werde sogar, so leid es mir tut, meine Erklärungen abkürzen müssen. Aber ich konnte ja morgen, wenn der Apparat wieder gereinigt ist – da? er so sehr beschmutzt wird, ist sein einziger Fehler – die näheren Erklärungen nachtragen. Jetzt also nur das Notwendigste. – Wenn der Mann auf dem Bett liegt und dieses ins Zittern gebracht ist, wird die Egge auf den Körper gesenkt. Sie stellt sich von selbst so ein, da? sie nur knapp mit den Spitzen den Körper berührt; ist die Einstellung vollzogen, strafft sich sofort dieses Stahlseil zu einer Stange. Und nun beginnt das Spiel. Ein Nichteingeweihter merkt au?erlich keinen Unterschied in den Strafen. Die Egge scheint gleichförmig zu arbeiten. Zitternd sticht sie ihre Spitzen in den Körper ein, der überdies vom Bett aus zittert. Um es nun jedem zu ermöglichen, die Ausführung des Urteils zu überprüfen, wurde die Egge aus Glas gemacht. Es hat einige technische Schwierigkeiten verursacht, die Nadeln darin zu befestigen, es ist aber nach vielen Versuchen gelungen. Wir haben eben keine Mühe gescheut. Und nun kann jeder durch das Glas sehen, wie sich die Inschrift im Körper vollzieht. Wollen Sie nicht näher kommen und sich die Nadeln ansehen?”

Der Reisende erhob sich langsam, ging hin und beugte sich über die Egge. "Sie sehen", sagte der Offizier, "zweierlei Nadeln in vielfacher Anordnung. Jede lange hat eine kurze neben sich. Die lange schreibt nämlich, und die kurze spritzt Wasser aus, um das Blut abzuwaschen und die Schrift immer klar zu erhalten. Das Blutwasser wird dann hier in kleine Rinnen geleitet und fließt endlich in diese Hauptrinne, deren Abflußrohr in die Grube führt." Der Offizier zeigte mit dem Finger genau den Weg, den das Blutwasser nehmen mußte. Als er es, um es möglichst anschaulich zu machen, an der Mundung des Abflußrohres mit beiden Händen formlich auffing, erhob der Reisende den Kopf und wollte, mit der Hand rückwärts tastend, zu seinem Sessel zurückgehen. Da sah er zu seinem Schrecken, daß auch der Verurteilte gleich ihm der Einladung des Offiziers, sich die Einrichtung der Egge aus der Nahe anzusehen, gefolgt war. Er hatte den verschlafenen Soldaten an der Kette ein wenig vorgezerrt und sich auch über das Glas gebeugt. Man sah, wie er mit unsicheren Augen auch das suchte, was die zwei Herren eben beobachtet hatten, wie es ihm aber, da ihm die Erklärung fehlte, nicht gelingen wollte. Er beugte sich hierhin und dorthin. Immer wieder lief er mit den Augen das Glas ab. Der Reisende wollte ihn zurücktreiben, denn, was er tat, war wahrscheinlich strafbar. Aber der Offizier hielt den Reisenden mit einer Hand fest, nahm mit der anderen eine Erdscholle vom Wall und warf sie nach dem Soldaten. Dieser hob mit einem Ruck die Augen, sah, was der Verurteilte gewagt hatte, ließ das Gewehr fallen, stemmte die Füße mit den Absätzen in den Boden, riß den Verurteilten zurück, daß er gleich niederfiel, und sah dann auf ihn hinunter, wie er sich wand und mit seinen Ketten klirrte. "Stell ihn auf!" schrie der Offizier, denn er merkte, daß der Reisende durch den Verurteilten allzusehr abgelenkt wurde. Der Reisende beugte sich sogar über die Egge hinweg, ohne sich um sie zu kümmern, und wollte nur feststellen, was mit dem Verurteilten geschehe. "Behandle ihn sorgfältig!" schrie der Offizier wieder. Er umließ den Apparat, faßte selbst den Verurteilten unter den Achseln und stellte ihn, der öfters mit den Füßen ausglitt, mit Hilfe des Soldaten auf.

"Nun weiß ich schon alles", sagte der Reisende, als der Offizier wieder zu ihm zurückkehrte. "Bis auf das Wichtigste", sagte dieser, ergriff den Reisenden am Arm und zeigte in die Höhe: "Dort im Zeichner ist das Raderwerk, welches die Bewegung der Egge bestimmt, und dieses Raderwerk wird nach der Zeichnung, auf welche das Urteil lautet, angeordnet. Ich verwende noch die Zeichnungen des früheren Kommandanten. Hier sind sie," – er zog einige Blätter aus der Ledermappe – "ich kann sie Ihnen aber leider nicht in die Hand geben, sie sind das Teuerste, was ich habe. Setzen Sie sich, ich zeige sie Ihnen aus dieser Entfernung, dann werden Sie alles gut sehen können." Er zeigte das erste Blatt. Der Reisende hatte gerne etwas Anerkennendes gesagt, aber er sah nur labyrinthartige, einander vielfach kreuzende Linien, die so dicht das Papier bedeckten, daß man nur mit Mühe die weißen Zwischenräume erkannte. "Lesen Sie", sagte der Offizier. "Ich kann nicht", sagte der Reisende. "Es ist doch deutlich", sagte der Offizier. "Es ist sehr kunstvoll", sagte der Reisende ausweichend, "aber ich kann es nicht entziffern." "Ja", sagte der Offizier, lachte und steckte die Mappe wieder ein, "es ist keine Schönschrift für Schulkinder. Man muß lange darin lesen. Auch Sie würden es schließlich gewiß erkennen. Es darf natürlich keine einfache Schrift sein; sie soll ja nicht sofort toten, sondern durchschnittlich erst in einem Zeitraum von zwölf Stunden; für die sechste Stunde ist der Wendepunkt berechnet. Es müssen also viele, viele Zieraten die eigentliche Schrift umgeben; die wirkliche Schrift umzieht den Leib nur in einem schmalen Gurtel; der übrige Körper ist für Verzierungen bestimmt. Können Sie jetzt die Arbeit der Egge und des ganzen Apparates würdigen? – Sehen Sie doch!" Er sprang auf die Leiter, drehte ein Rad, rief hinunter: "Achtung, treten Sie zur Seite", und alles kam in Gang. Hatte das Rad nicht gekreischt, es wäre herrlich gewesen. Als sei der Offizier von diesem storenden Rad überrascht, drohte er ihm mit der Faust, breitete dann, sich entschuldigend, zum Reisenden hin die Arme aus und kletterte eilig hinunter, um den Gang des Apparates von unten zu beobachten. Noch war etwas nicht in Ordnung, das nur er merkte; er kletterte wieder hinauf, griff mit beiden Händen in das Innere des Zeichners; glitt dann, um rascher hinunterzukommen, statt die Leiter zu benutzen, an der einen Stange hinunter und schrie nun, um sich im Lärm verständlich zu machen, mit außerster Anspannung dem Reisenden ins Ohr: "Begreifen Sie den Vorgang? Die Egge fängt zu schreiben an; ist sie mit der ersten Anlage der Schrift auf dem Rücken des Mannes fertig, rollt die Watteschicht und walzt den Körper langsam auf die Seite, um der Egge neuen Raum zu bieten. Inzwischen legen sich die wundbeschriebenen Stellen auf die Watte, welche infolge der besonderen Präparierung sofort die Blutung stillt und zu neuer Vertiefung der Schrift vorbereitet. Hier die Zacken am Rande der Egge reißen dann beim weiteren Umwalzen des Körpers die Watte von den Wunden, schleudern sie in die Grube, und die Egge hat wieder Arbeit. So schreibt sie immer tiefer die zwölf Stunden lang. Die ersten sechs Stunden lebt der Verurteilte fast wie früher, er leidet nur Schmerzen. Nach zwei Stunden wird der Filz entfernt, denn der Mann hat keine Kraft zum Schreien mehr. Hier in diesen elektrisch geheizten Napf am Kopfende wird warmer Reisbrei gelegt, aus dem der Mann, wenn er Lust hat, nehmen kann, was er mit der Zunge erhascht. Keiner versäumt die Gelegenheit. Ich weiß keinen, und meine Erfahrung ist groß. Erst um die sechste Stunde verliert er das Vergnügen am Essen. Ich knie dann gewöhnlich hier nieder und beobachte diese Erscheinung. Der Mann schluckt den letzten Bissen selten, er dreht ihn nur im Mund und speit ihn in die Grube. Ich muß mich dann bucken, sonst fährt es mir ins Gesicht. Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde! Verstand geht dem Blodesten auf. Um die Augen beginnt es. Von hier aus verbreitet es sich. Ein Anblick, der einen verfahren konnte, sich mit unter die Egge zu legen. Es geschieht ja nichts weiter, der Mann fängt bloß an, die Schrift zu entziffern, er spitzt den Mund, als horche er. Sie haben gesehen, es ist nicht leicht, die Schrift mit den Augen zu entziffern; unser Mann entziffert sie aber mit seinen Wunden. Es ist allerdings viel Arbeit; er braucht sechs Stunden zu ihrer Vollendung. Dann aber spießt ihn die Egge vollständig auf und wirft ihn in die Grube, wo er auf das Blutwasser und die Watte niederklatscht. Dann ist das Gericht zu Ende, und wir, ich und der Soldat, scharren ihn ein."

Der Reisende hatte das Ohr zum Offizier geneigt und sah, die Hände in den Rocktaschen, der Arbeit der Maschine zu. Auch der Verurteilte sah ihr zu, aber ohne Verständnis. Er buckte sich ein wenig und verfolgte die schwankenden Nadeln, als ihm der Soldat, auf ein Zeichen des Offiziers, mit einem Messer hinten Hemd und Hose durchschnitt, so daß sie von dem Verurteilten abfielen; er wollte nach dem fallenden Zeug greifen, um seine Blöße zu bedecken, aber der Soldat hob ihn in die Höhe und schüttelte die letzten Fetzen von ihm ab. Der Offizier stellte die Maschine ein, und in der jetzt eintretenden Stille wurde der Verurteilte unter die Egge gelegt. Die Ketten wurden gelöst, und statt dessen die Riemen befestigt; es schien für den Verurteilten im ersten Augenblick fast eine Erleichterung zu bedeuten. Und nun senkte sich die Egge noch ein Stück tiefer, denn es war ein magerer Mann. Als ihn die Spitzen berührten, ging ein Schauer über seine Haut; er streckte, während der Soldat mit seiner rechten Hand beschäftigt war, die linke aus, ohne zu wissen wohin; es war aber die Richtung, wo der Reisende stand. Der Offizier sah ununterbrochen den Reisenden von der Seite an, als suche er von seinem Gesicht den Eindruck abzulesen, den die Exekution, die er ihm nun wenigstens oberflächlich erklärt hatte, auf ihn machte.

Der Riemen, der für das Handgelenk bestimmt war, riß; wahrscheinlich hatte ihn der Soldat zu stark angezogen. Der Offizier sollte helfen, der Soldat zeigte ihm das abgerissene Riemenstück. Der Offizier ging auch zu ihm hinüber und sagte, das Gesicht dem Reisenden zugewendet: "Die Maschine ist sehr zusammengesetzt, es muß hier und da etwas reißen oder brechen; dadurch darf man sich aber im Gesamturteil nicht beirren lassen. Für den Riemen ist übrigens sofort Ersatz geschafft; ich werde eine Kette verwenden; die Zartheit der Schwingung wird dadurch für den rechten Arm allerdings beeinträchtigt." Und während er die Ketten anlegte, sagte er noch: "Die Mittel zur Erhaltung der Maschine sind jetzt sehr eingeschränkt. Unter dem früheren Kommandanten war eine mir frei zugängliche Kassa nur für diesen Zweck bestimmt. Es gab hier ein Magazin, in dem alle möglichen Ersatzstücke aufbewahrt wurden. Ich gestehe, ich trieb damit fast Verschwendung, ich meine früher, nicht jetzt, wie der neue

Kommandant behauptet, dem alles nur zum Vorwand dient, alte Einrichtungen zu bekapfen. Jetzt hat er die Maschinenkassa in eigener Verwaltung, und schicke ich um einen neuen Riemen, wird der zerrissene als Beweisstück verlangt, der neue kommt erst in zehn Tagen, ist dann aber von schlechterer Sorte und taugt nicht viel. Wie ich aber in der Zwischenzeit ohne Riemen die Maschine betreiben soll, darum kummert sich niemand.“

Der Reisende überlegte: Es ist immer bedenklich, in fremde Verhältnisse entscheidend einzugreifen. Er war weder Bürger der Strafkolonie, noch Bürger des Staates, dem sie angehorte. Wenn er diese Exekution verurteilen oder gar hintertreiben wollte, konnte man ihm sagen: Du bist ein Fremder, sei still. Darauf hatte er nichts erwidern, sondern nur hinzufügen können, daß er sich in diesem Falle selbst nicht begreife, denn er reise nur mit der Absicht zu sehen und keineswegs etwa, um fremde Gerichtsverfassungen zu ändern. Nun lagen aber hier die Dinge allerdings sehr verfuhrerisch. Die Ungerechtigkeit des Verfahrens und die Unmenschlichkeit der Exekution war zweifellos. Niemand konnte irgendeine Eigennützigkeit des Reisenden annehmen, denn der Verurteilte war ihm fremd, kein Landsmann und ein zum Mitleid gar nicht auffordernder Mensch. Der Reisende selbst hatte Empfehlungen hoher Amter, war hier mit großer Hoflichkeit empfangen worden, und daß er zu dieser Exekution eingeladen worden war, schien sogar darauf hinzudeuten, daß man sein Urteil über dieses Gericht verlangte. Dies war aber um so wahrscheinlicher, als der Kommandant, wie er jetzt überdeutlich gehört hatte, kein Anhänger dieses Verfahrens war und sich gegenüber dem Offizier fast feindselig verhielt.

Da horte der Reisende einen Wutschrei des Offiziers. Er hatte gerade, nicht ohne Muhe, dem Verurteilten den Filzstumpf in den Mund geschoben, als der Verurteilte in einem unwiderstehlichen Brechreiz die Augen schloß und sich erbrach. Eilig riß ihn der Offizier vom Stumpf in die Höhe und wollte den Kopf zur Grube hindrehen; aber es war zu spät, der Unrat floß schon an der Maschine hinab. „Alles Schuld des Kommandanten!“ schrie der Offizier und ruttelte besinnungslos vorn an den Messingstangen, „die Maschine wird mir verunreinigt wie ein Stall.“ Er zeigte mit zitternden Händen dem Reisenden, was geschehen war. „Habe ich nicht stundenlang dem Kommandanten begreiflich zu machen gesucht, daß einen Tag vor der Exekution kein Essen mehr verabfolgt werden soll. Aber die neue milde Richtung ist anderer Meinung. Die Damen des Kommandanten stopfen dem Mann, ehe er abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. Sein ganzes Leben hat er sich von stinkenden Fischen genahrt und muß jetzt Zuckersachen essen! Aber es wäre ja möglich, ich würde nichts einwenden, aber warum schafft man nicht einen neuen Filz an, wie ich ihn seit einem Vierteljahr erbitte. Wie kann man ohne Ekel diesen Filz in den Mund nehmen, an dem mehr als hundert Manner im Sterben gesaugt und gebissen haben?“

Der Verurteilte hatte den Kopf niedergelegt und sah friedlich aus, der Soldat war damit beschäftigt, mit dem Hemd des Verurteilten die Maschine zu putzen. Der Offizier ging zum Reisenden, der in irgendeiner Ahnung einen Schritt zurücktrat, aber der Offizier faßte ihn bei der Hand und zog ihn zur Seite. „Ich will einige Worte im Vertrauen mit Ihnen sprechen“, sagte er, „ich darf das doch?“ „Gewiß“, sagte der Reisende und horte mit gesenkten Augen zu.

„Dieses Verfahren und diese Hinrichtung, die Sie jetzt zu bewundern Gelegenheit haben, hat gegenwärtig in unserer Kolonie keinen offenen Anhänger mehr. Ich bin ihr einziger Vertreter, gleichzeitig der einzige Vertreter des Erbes des alten Kommandanten. An einen weiteren Ausbau des Verfahrens kann ich nicht mehr denken, ich verbrauche alle meine Kräfte, um zu erhalten, was vorhanden ist. Als der alte Kommandant lebte, war die Kolonie von seinen Anhängern voll; die Überzeugungskraft des alten Kommandanten habe ich zum Teil, aber seine Macht fehlt mir ganz; infolgedessen haben sich die Anhänger verkrochen, es gibt noch viele, aber keiner gesteht es ein. Wenn Sie heute, also an einem Hinrichtungstag, ins Teehaus gehen und herumhocken, werden Sie vielleicht nur zweideutige Äußerungen hören. Das sind lauter Anhänger, aber unter dem gegenwärtigen Kommandanten und bei seinen gegenwärtigen Anschauungen für mich ganz unbrauchbar. Und nun frage ich Sie: Soll wegen dieses Kommandanten und seiner Frauen, die ihn beeinflussen, ein solches Lebenswerk – er zeigte auf die Maschine – zugrunde gehen? Darf man das zulassen? Selbst wenn man nur als Fremder ein paar Tage auf unserer Insel ist? Es ist aber keine Zeit zu verlieren, man bereitet etwas gegen meine Gerichtsbarkeit vor; es finden schon Beratungen in der Kommandatur statt, zu denen ich nicht zugezogen werde; sogar Ihr heutiger Besuch scheint mir für die ganze Lage bezeichnend; man ist feig und schickt Sie, einen Fremden, vor. – Wie war die Exekution anders in früherer Zeit! Schon einen Tag vor der Hinrichtung war das ganze Tal von Menschen überfüllt; alle kamen nur um zu sehen; früh am Morgen erschien der Kommandant mit seinen Damen; Fanfaren weckten den ganzen Lagerplatz; ich erstattete die Meldung, daß alles vorbereitet sei; die Gesellschaft – kein hoher Beamter durfte fehlen – ordnete sich um die Maschine; dieser Haufen Rohrsessel ist ein armseliges Überbleibsel aus jener Zeit. Die Maschine glanzte frisch geputzt, fast zu jeder Exekution nahm ich neue Ersatzstücke. Vor hunderten Augen – alle Zuschauer standen auf den Fußspitzen bis dort zu den Anhöhen – wurde der Verurteilte vom Kommandanten selbst unter die Egge gelegt. Was heute ein gemeiner Soldat tun darf, war damals meine, des Gerichtspräsidenten, Arbeit und ehrte mich. Und nun begann die Exekution! Kein Mißton storte die Arbeit der Maschine. Manche sahen nun gar nicht mehr zu, sondern lagen mit geschlossenen Augen im Sand; alle wußten: Jetzt geschieht Gerechtigkeit. In der Stille horte man nur das Seufzen des Verurteilten, gedämpft durch den Filz. Heute gelingt es der Maschine nicht mehr, dem Verurteilten ein stärkeres Seufzen auszupressen, als der Filz noch ersticken kann; damals aber tropften die schreibenden Nadeln eine reizende Flüssigkeit aus, die heute nicht mehr verwendet werden darf. Nun, und dann kam die sechste Stunde! Es war unmöglich, allen die Bitte, aus der Nahe zuschauen zu dürfen, zu gewahren. Der Kommandant in seiner Einsicht ordnete an, daß vor allem die Kinder berücksichtigt werden sollten; ich allerdings durfte kraft meines Berufes immer dabeistehen; oft hockte ich dort, zwei kleine Kinder rechts und links in meinen Armen. Wie nahmen wir alle den Ausdruck der Verklärung von dem gemarterten Gesicht, wie hielten wir unsere Wangen in den Schein dieser endlich erreichten und schon vergehenden Gerechtigkeit! Was für Zeiten, mein Kamerad!“ Der Offizier hatte offenbar vergessen, wer vor ihm stand; er hatte den Reisenden umarmt und den Kopf auf seine Schulter gelegt. Der Reisende war in großer Verlegenheit, ungeduldig sah er über den Offizier hinweg. Der Soldat hatte die Reinigungsarbeit beendet und jetzt noch aus einer Buchse Reisbrei in den Napf geschüttet. Kaum merkte dies der Verurteilte, der sich schon vollständig erholt zu haben schien, als er mit der Zunge nach dem Brei zu schnappen begann. Der Soldat stieß ihn immer wieder weg, denn der Brei war wohl für eine spätere Zeit bestimmt, aber ungehörig war es jedenfalls auch, daß der Soldat mit seinen schmutzigen Händen hineingriff und vor dem gierigen Verurteilten davon aß.

Der Offizier faßte sich schnell. „Ich wollte Sie nicht etwa rühren“, sagte er, „ich weiß, es ist unmöglich, jene Zeiten heute begreiflich zu machen. Im übrigen arbeitet die Maschine noch und wirkt für sich. Sie wirkt für sich, auch wenn sie allein in diesem Tale steht. Und die Leiche fällt zum Schluß noch immer in dem unbegreiflich sanften Flug in die Grube, auch wenn nicht, wie damals, Hunderte wie Fliegen um die Grube sich versammeln. Damals mußten wir ein starkes Gelande um die Grube anbringen, es ist längst weggerissen.“

Der Reisende wollte sein Gesicht dem Offizier entziehen und blickte ziellos herum. Der Offizier glaubte, er betrachte die Ode des Tales; er ergriff deshalb seine Hande, drehte sich um ihn, um seine Blicke zu fassen, und fragte: „Merken Sie die Schande“

Aber der Reisende schweig. Der Offizier lie? fur ein Weilchen von ihm ab; mit auseinandergestellten Beinen, die Hande in den Huften, stand er still und blickte zu Boden. Dann lachelte er dem Reisenden aufmunternd zu und sagte: "Ich war gestern in Ihrer Nahe, als der Kommandant Sie einlud. Ich horte die Einladung. Ich kenne den Kommandanten. Ich verstand sofort, was er mit der Einladung bezweckte. Trotzdem seine Macht gro? genug ware, um gegen mich einzuschreiten, wagt er es noch nicht, wohl aber will er mich Ihrem, dem Urteil eines angesehenen Fremden aussetzen. Seine Berechnung ist sorgfaltig; Sie sind den zweiten Tag auf der Insel, Sie kannten den alten Kommandanten und seinen Gedankenkreis nicht, Sie sind in europaischen Anschauungen befangen, vielleicht sind Sie ein grundsatzlicher Gegner der Todesstrafe im allgemeinen und einer derartigen maschinellen Hinrichtungsart im besonderen, Sie sehen uberdies, wie die Hinrichtung ohne offentliche Anteilnahme, traurig, auf einer bereits etwas beschadigten Maschine vor sich geht – ware es nun, alles dieses zusammengenommen (so denkt der Kommandant), nicht sehr leicht moglich, da? Sie mein Verfahren nicht fur richtig halten? Und wenn Sie es nicht fur richtig halten, werden Sie dies (ich rede noch immer im Sinne des Kommandanten) nicht verschweigen, denn Sie vertrauen doch gewi? Ihren vielerprobten Uberzeugungen. Sie haben allerdings viele Eigentumlichkeiten vieler Volker gesehen und achten gelernt, Sie werden daher wahrscheinlich sich nicht mit ganzer Kraft, wie Sie es vielleicht in Ihrer Heimat tun wurden, gegen das Verfahren aussprechen. Aber dessen bedarf der Kommandant gar nicht. Ein fluchtiges, ein blo? unvorsichtiges Wort genugt. Es mu? gar nicht Ihrer Uberzeugung entsprechen, wenn es nur scheinbar seinem Wunsche entgegenkommt. Da? er Sie mit aller Schlaueit ausfragen wird, dessen bin ich gewi?. Und seine Damen werden im Kreis herumsitzen und die Ohren spitzen; Sie werden etwa sagen: >Bei uns ist das Gerichtsverfahren ein anderes<, oder >Bei uns wird der Angeklagte vor dem Urteil verhort<, oder >Bei uns erfahrt der Verurteilte das Urteil<, oder >Bei uns gibt es auch andere Strafen als Todesstrafen<, oder >Bei uns gab es Folterungen nur im Mittelalter<. Das alles sind Bemerkungen, die ebenso richtig sind, als sie Ihnen selbstverstandlich erscheinen, unschuldige Bemerkungen, die mein Verfahren nicht antasten. Aber wie wird sie der Kommandant aufnehmen? Ich sehe ihn, den guten Kommandanten, wie er sofort den Stuhl beiseite schiebt und auf den Balkon eilt, ich sehe seine Damen, wie sie ihm nachstromen, ich hore seine Stimme – die Damen nennen sie eine Donnerstimme –, nun, und er spricht: >Ein gro?er Forscher des Abendlandes, dazu bestimmt, das Gerichtsverfahren in allen Landern zu uberprufen, hat eben gesagt, da? unser Verfahren nach altem Brauch ein unmenschliches ist. Nach diesem Urteil einer solchen Personlichkeit ist es mir natulich nicht mehr moglich, dieses Verfahren zu dulden. Mit dem heutigen Tage also ordne ich an – usw. < Sie wollen eingreifen, Sie haben natulich das gesagt, was er verkundet, Sie haben mein Verfahren nicht unmenschlich genannt, im Gegenteil, Ihrer tiefen Einsicht entsprechend halten Sie es fur das menschlichste und menschenwurdigste, Sie bewundern auch diese Maschinerie – aber es ist zu spat; Sie kommen gar nicht auf den Balkon, der schon voll Damen ist; Sie wollen sich bemerkbar machen; Sie wollen schreien; aber eine Damenhand halt Ihnen den Mund zu – und ich und das Werk des alten Kommandanten sind verloren. "

Der Reisende mu?te ein Lacheln unterdrucken; so leicht war also die Aufgabe, die er fur so schwer gehalten hatte. Er sagte ausweichend: "Sie uberschatzen meinen Einflu?; der Kommandant hat mein Empfehlungsschreiben gelesen, er wei?, da? ich kein Kenner der gerichtlichen Verfahren bin. Wenn ich eine Meinung aussprechen wurde, so ware es die Meinung eines Privatmannes, um nichts bedeutender als die Meinung eines beliebigen anderen, und jedenfalls viel bedeutungsloser als die Meinung des Kommandanten, der in dieser Strafkolonie, wie ich zu wissen glaube, sehr ausgedehnte Rechte hat. Ist seine Meinung uber dieses Verfahren eine so bestimmte, wie Sie glauben, dann, furchte ich, ist allerdings das Ende dieses Verfahrens gekommen, ohne da? es meiner bescheidenen Mithilfe bedurfte. "

Begriff es schon der Offizier? Nein, er begriff noch nicht. Er schuttelte lebhaft den Kopf, sah kurz nach dem Verurteilten und dem Soldaten zuruck, die zusammenzuckten und vom Reis ablie?en, ging ganz nahe an den Reisenden heran, blickte ihm nicht ins Gesicht, sondern irgendwohin auf seinen Rock und sagte leiser als fruher: "Sie kennen den Kommandanten nicht; Sie stehen ihm und uns allen – verzeihen Sie den Ausdruck – gewisserma?en harmlos gegenuber; Ihr Einflu?, glauben Sie mir, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich war ja gluckselig, als ich horte, da? Sie allein der Exekution beiwohnen sollten. Diese Anordnung des Kommandanten sollte mich treffen, nun aber wende ich sie zu meinen Gunsten. Unabgelenkt von falschen Einflusterungen und verachtlichen Blicken – wie sie bei gro?erer Teilnahme an der Exekution nicht hatten vermieden werden konnen – haben Sie meine Erklarungen angehört, die Maschine gesehen und sind nun im Begriffe, die Exekution zu besichtigen. Ihr Urteil steht gewi? schon fest; sollten noch kleine Unsicherheiten bestehen, so wird sie der Anblick der Exekution beseitigen. Und nun stelle ich an Sie die Bitte: helfen Sie mir gegenuber dem Kommandanten! "

Der Reisende lie? ihn nicht weiter reden. "Wie konnte ich denn das", rief er aus, "das ist ganz unmoglich. Ich kann Ihnen ebensowenig nutzen als ich Ihnen schaden kann. "

"Sie konnen es", sagte der Offizier. Mit einiger Befurchtung sah der Reisende, da? der Offizier die Fauste ballte. "Sie konnen es", wiederholte der Offizier noch dringender. "Ich habe einen Plan, der gelingen mu?. Sie glauben, Ihr Einflu? genuge nicht. Ich wei?, da? er genugt. Aber zugestanden, da? Sie recht haben, ist es denn nicht notwendig, zur Erhaltung dieses Verfahrens alles, selbst das moglicherweise Unzureichende zu versuchen? Horen Sie also meinen Plan. Zu seiner Ausfuhrung ist es vor allem notig, da? Sie heute in der Kolonie mit Ihrem Urteil uber das Verfahren moglichst zuruckhalten. Wenn man Sie nicht geradezu fragt, durfen Sie sich keinesfalls au?ern; Ihre Au?erungen aber mussen kurz und unbestimmt sein; man soll merken, da? es Ihnen schwer wird, daruber zu sprechen, da? Sie verbittert sind, da? Sie, falls Sie offen reden sollten, geradezu in Verwunschungen ausbrechen mu?ten. Ich verlange nicht, da? Sie lugen sollen; keineswegs; Sie sollen nur kurz antworten, etwa: >Ja, ich habe die Exekution gesehen<, oder >Ja, ich habe alle Erklarungen gehort<. Nur das, nichts weiter. Fur die Verbitterung, die man Ihnen anmerken soll, ist ja genugend Anla?, wenn auch nicht im Sinne des Kommandanten. Er natulich wird es vollstandig mi?verstehen und in seinem Sinne deuten. Darauf grundet sich mein Plan. Morgen findet in der Kommandatur unter dem Vorsitz des Kommandanten eine gro?e Sitzung aller hoheren Verwaltungsbeamten statt. Der Kommandant hat es natulich verstanden, aus solchen Sitzungen eine Schaustellung zu machen. Es wurde eine Galerie gebaut, die mit Zuschauern immer besetzt ist. Ich bin gezwungen an den Beratungen teilzunehmen, aber der Widerwille schuttelt mich. Nun werden Sie gewi? auf jeden Fall zu der Sitzung eingeladen werden; wenn Sie sich heute meinem Plane gema? verhalten, wird die Einladung zu einer dringenden Bitte werden. Sollten Sie aber aus irgendeinem unerfindlichen Grunde doch nicht eingeladen werden, so mu?ten Sie allerdings die Einladung verlangen; da? Sie sie dann erhalten, ist zweifellos. Nun sitzen Sie also morgen mit den Damen in der Loge des Kommandanten. Er versichert sich ofters durch Blicke nach oben, da? Sie da sind. Nach verschiedenen gleichgultigen, lacherlichen, nur fur die Zuhorer berechneten Verhandlungsgegenstanden – meistens sind es Hafengebauten, immer wieder Hafengebauten! – kommt auch das Gerichtsverfahren zur Sprache. Sollte es von seiten des Kommandanten nicht oder nicht bald genug geschehen, so werde ich dafur sorgen, da? es geschieht. Ich werde aufstehen und die Meldung von der heutigen Exekution erstatten. Ganz kurz, nur diese Meldung. Eine solche Meldung ist zwar dort nicht ublich, aber ich tue es doch. Der Kommandant dankt mir, wie immer, mit freundlichem Lacheln und nun, er kann sich nicht zuruckhalten, erfa?t er die gute Gelegenheit. >Es wurde eben<, so oder ahnlich wird er sprechen, >die Meldung von der Exekution erstattet. Ich mochte dieser Meldung nur hinzufugen, da? gerade dieser Exekution der gro?e Forscher beigewohnt hat, von dessen unsere Kolonie so au?erordentlich ehrendem Besuch Sie alle wissen.

Auch unsere heutige Sitzung ist durch seine Anwesenheit in ihrer Bedeutung erhöht. Wollen wir nun nicht an diesen großen Forscher die Frage richten, wie er die Exekution nach altem Brauch und das Verfahren, das ihr vorhergeht, beurteilt? < Natürlich überall Beifallklatschen, allgemeine Zustimmung, ich bin der lauteste. Der Kommandant verbeugt sich vor Ihnen und sagt: >Dann stelle ich im Namen aller die Frage.< Und nun treten Sie an die Brustung. Legen Sie die Hände für alle sichtbar hin, sonst fassen sie die Damen und spielen mit den Fingern. – Und jetzt kommt endlich Ihr Wort. Ich weiß nicht, wie ich die Spannung der Stunden bis dahin ertragen werde. In Ihrer Rede müssen Sie sich keine Schranken setzen, machen Sie mit der Wahrheit Lärm, beugen Sie sich über die Brustung, brüllen Sie, aber ja, brüllen Sie dem Kommandanten Ihre Meinung, Ihre unerschütterliche Meinung zu. Aber vielleicht wollen Sie das nicht, es entspricht nicht Ihrem Charakter, in Ihrer Heimat verhält man sich vielleicht in solchen Lagen anders, auch das ist richtig, auch das genügt vollkommen, stehen Sie gar nicht auf, sagen Sie nur ein paar Worte, flüstern Sie sie, da? sie gerade noch die Beamten unter Ihnen hören, es genügt, Sie müssen gar nicht selbst von der mangelnden Teilnahme an der Exekution, von dem kreischenden Rad, dem zerrissenen Riemen, dem widerlichen Filz reden, nein, alles weitere übernehme ich, und glauben Sie, wenn meine Rede ihn nicht aus dem Saale jagt, so wird sie ihn auf die Knie zwingen, da? er bekennen muß: Alter Kommandant, vor dir beuge ich mich. – Das ist mein Plan; wollen Sie mir zu seiner Ausführung helfen? Aber natürlich wollen Sie, mehr als das, Sie müssen. ” Und der Offizier faßte den Reisenden an beiden Armen und sah ihm schweratmend ins Gesicht. Die letzten Sätze hatte er so geschrien, da? selbst der Soldat und der Verurteilte aufmerksam geworden waren; trotzdem sie nichts verstehen konnten, hielten sie doch im Essen inne und sahen kauend zum Reisenden hinüber.

Die Antwort, die er zu geben hatte, war für den Reisenden von allem Anfang an zweifellos; er hatte in seinem Leben zu viel erfahren, als da? er hier hätte schwanken können; er war im Grunde ehrlich und hatte keine Furcht. Trotzdem zogerte er jetzt im Anblick des Soldaten und des Verurteilten einen Atemzug lang. Schließlich aber sagte er, wie er mußte: “Nein. ” Der Offizier blinzelte mehrmals mit den Augen, ließ aber keinen Blick von ihm. “Wollen Sie eine Erklärung?” fragte der Reisende. Der Offizier nickte stumm. “Ich bin ein Gegner dieses Verfahrens”, sagte nun der Reisende, “noch ehe Sie mich ins Vertrauen zogen – dieses Vertrauen werde ich natürlich unter keinen Umständen mißbrauchen – habe ich schon überlegt, ob ich berechtigt wäre, gegen dieses Verfahren einzuschreiten und ob mein Einschreiten auch nur eine kleine Aussicht auf Erfolg haben könnte. An wen ich mich dabei zuerst wenden mußte, war mir klar: an den Kommandanten natürlich. Sie haben es mir noch klarer gemacht, ohne aber etwa meinen Entschluß erst befestigt zu haben, im Gegenteil, Ihre ehrliche Überzeugung geht mir nahe, wenn sie mich auch nicht beirren kann.”

Der Offizier blieb stumm, wendete sich der Maschine zu, faßte eine der Messingstangen und sah dann, ein wenig zurückgebeugt, zum Zeichner hinauf, als prüfe er, ob alles in Ordnung sei. Der Soldat und der Verurteilte schienen sich miteinander befreundet zu haben; der Verurteilte machte, so schwierig dies bei der festen Einschnallung durchzuführen war, dem Soldaten Zeichen; der Soldat beugte sich zu ihm; der Verurteilte flüsterte ihm etwas zu, und der Soldat nickte.

Der Reisende ging dem Offizier nach und sagte: “Sie wissen noch nicht, was ich tun will. Ich werde meine Ansicht über das Verfahren dem Kommandanten zwar sagen, aber nicht in einer Sitzung, sondern unter vier Augen; ich werde auch nicht so lange hier bleiben, da? ich irgendeiner Sitzung beigezogen werden könnte; ich fahre schon morgen früh weg oder schiffe mich wenigstens ein. ”

Es sah nicht aus, als ob der Offizier zugehört hatte. “Das Verfahren hat Sie also nicht überzeugt”, sagte er für sich und lachelte, wie ein Alter über den Unsinn eines Kindes lachelt und hinter dem Lacheln sein eigenes wirkliches Nachdenken

behält.

“Dann ist es also Zeit”, sagte er schließlich und blickte plötzlich mit hellen Augen, die irgendeine Aufforderung, irgendeinen Aufruf zur Beteiligung enthielten, den Reisenden an.

“Wozu ist es Zeit?” fragte der Reisende unruhig, bekam aber keine Antwort.

“Du bist frei”, sagte der Offizier zum Verurteilten in dessen Sprache. Dieser glaubte es zuerst nicht. “Nun, frei bist du”, sagte der Offizier. Zum erstenmal bekam das Gesicht des Verurteilten wirkliches Leben. War es Wahrheit? War es nur eine Laune des Offiziers, die vorübergehen konnte? Hatte der fremde Reisende ihm Gnade erwirkt? Was war es?. So schien sein Gesicht zu fragen. Aber nicht lange. Was immer es sein mochte, er wollte, wenn er durfte, wirklich frei sein und er begann sich zu rütteln, soweit es die Egge erlaubte.

“Du zerreißt mir die Riemen”, schrie der Offizier, “sei ruhig! Wir öffnen sie schon. ” Und er machte sich mit dem Soldaten, dem er ein Zeichen gab, an die Arbeit. Der Verurteilte lachte ohne Worte leise vor sich hin, bald wendete er das Gesicht links zum Offizier, bald rechts zum Soldaten, auch den Reisenden vergaß er nicht.

“Zieh ihn heraus”, befahl der Offizier dem Soldaten. Es mußte hierbei wegen der Egge einige Vorsicht angewendet werden. Der Verurteilte hatte schon infolge seiner Ungeduld einige kleine Rißwunden auf dem Rücken.

Von jetzt ab kümmerte sich aber der Offizier kaum mehr um ihn. Er ging auf den Reisenden zu, zog wieder die kleine Ledermappe hervor, blätterte in ihr, fand schließlich das Blatt, das er suchte, und zeigte es dem Reisenden. “Lesen Sie”, sagte er. “Ich kann nicht”, sagte der Reisende, “ich sagte schon, ich kann diese Blätter nicht lesen. ” “Sehen Sie das Blatt doch genau an”, sagte der Offizier und trat neben den Reisenden, um mit ihm zu lesen. Als auch das nichts half, fuhr er mit dem kleinen Finger in großer Höhe, als dürfe das Blatt auf keinen Fall berührt werden, über das Papier hin, um auf diese Weise dem Reisenden das Lesen zu erleichtern. Der Reisende gab sich auch Mühe, um wenigstens darin dem Offizier gefällig sein zu können, aber es war ihm unmöglich. Nun begann der Offizier die Aufschrift zu buchstabieren und dann las er sie noch einmal im Zusammenhang. “>Sei gerecht! < – hei?t es”, sagte er, “jetzt können Sie es doch lesen. ” Der Reisende beugte sich so tief über das Papier, da? der Offizier aus Angst vor einer Berührung es weiter entfernte; nun sagte der Reisende zwar nichts mehr, aber es war klar, da? er es noch immer nicht hatte lesen können. “>Sei gerecht! < – hei?t es”, sagte der Offizier nochmals. “Mag sein”, sagte der Reisende, “ich glaube es, da? es dort steht. ” “Nun gut”, sagte der Offizier, wenigstens teilweise befriedigt, und stieg mit dem Blatt auf die Leiter; er bettete das Blatt mit großer Vorsicht im Zeichner und ordnete das Raderwerk scheinbar ganzlich um; es war eine sehr mühselige Arbeit, es mußte sich auch um ganz kleine Rader handeln, manchmal verschwand der Kopf des Offiziers völlig im Zeichner, so genau mußte er das Raderwerk untersuchen.

Der Reisende verfolgte von unten diese Arbeit ununterbrochen, der Hals wurde ihm steif, und die Augen schmerzten ihn von dem mit Sonnenlicht überschütteten Himmel. Der Soldat und der Verurteilte waren nur miteinander beschäftigt. Das Hemd und die Hose des Verurteilten, die schon in

der Grube lagen, wurden vom Soldaten mit der Bajonettspitze herausgezogen. Das Hemd war entsetzlich schmutzig, und der Verurteilte wusch es in dem Wasserkubel. Als er dann Hemd und Hose anzog, mußte der Soldat wie der Verurteilte laut lachen, denn die Kleidungsstücke waren doch hinten entzweigeschnitten. Vielleicht glaubte der Verurteilte verpflichtet zu sein, den Soldaten zu unterhalten, er drehte sich in der zerschnittenen Kleidung im Kreise vor dem Soldaten, der auf dem Boden hockte und lachend auf seine Knie schlug. Immerhin bezwangen sie sich noch mit Rücksicht auf die Anwesenheit der Herren.

Als der Offizier oben endlich fertig geworden war, überblickte er noch einmal lachend das Ganze in allen seinen Teilen, schlug diesmal den Deckel des Zeichners zu, der bisher offen gewesen war, stieg hinunter, sah in die Grube und dann auf den Verurteilten, merkte befriedigt, daß dieser seine Kleidung herausgenommen hatte, ging dann zu dem Wasserkubel, um die Hände zu waschen, erkannte zu spät den widerlichen Schmutz, war traurig darüber, daß er nun die Hände nicht waschen konnte, tauchte sie schließlich – dieser Ersatz genugte ihm nicht, aber er mußte sich fügen – in den Sand, stand dann auf und begann seinen Uniformrock aufzuknopfen. Hierbei fielen ihm zunächst die zwei Damentaschentücher, die er hinter den Kragen gezwangt hatte, in die Hände. "Hier hast du deine Taschentücher", sagte er und warf sie dem Verurteilten zu. Und zum Reisenden sagte er erklärend: "Geschenke der Damen."

Trotz der offenbaren Eile, mit der er den Uniformrock auszog und sich dann vollständig entkleidete, behandelte er doch jedes Kleidungsstück sehr sorgfältig, über die Silberschnüre an seinem Waffenrock strich er sogar eigens mit den Fingern hin und schüttelte eine Troddel zurecht. Wenig paßte es allerdings zu dieser Sorgfalt, daß er, sobald er mit der Behandlung eines Stückes fertig war, es dann sofort mit einem unwilligen Ruck in die Grube warf. Das letzte, was ihm übrig blieb, war sein kurzer Degen mit dem Tragriemen. Er zog den Degen aus der Scheide, zerbrach ihn, faßte dann alles zusammen, die Degenstücke, die Scheide und den Riemen und warf es so heftig weg, daß es unten in der Grube aneinander klang.

Nun stand er nackt da. Der Reisende biß sich auf die Lippen und sagte nichts. Er wußte zwar, was geschehen wurde, aber er hatte kein Recht, den Offizier an irgend etwas zu hindern. War das Gerichtsverfahren, an dem der Offizier hing, wirklich so nahe daran behoben zu werden – möglicherweise infolge des Einschreitens des Reisenden, zu dem sich dieser seinerseits verpflichtet fühlte – dann handelte jetzt der Offizier vollständig richtig; der Reisende hatte an seiner Stelle nicht anders gehandelt.

Der Soldat und der Verurteilte verstanden zuerst nichts, sie sahen anfangs nicht einmal zu. Der Verurteilte war sehr erfreut darüber, die Taschentücher zurückerhalten zu haben, aber er durfte sich nicht lange an ihnen freuen, denn der Soldat nahm sie ihm mit einem raschen, nicht vorherzusehenden Griff. Nun versuchte wieder der Verurteilte dem Soldaten die Tücher hinter dem Gurtel, hinter dem er sie verwahrt hatte, hervorzuziehen, aber der Soldat war wachsam. So stritten sie in halbem Scherz. Erst als der Offizier vollständig nackt war, wurden sie aufmerksam. Besonders der Verurteilte schien von der Ahnung irgendeines großen Umschwungs getroffen zu sein. Was ihm geschehen war, geschah nun dem Offizier. Vielleicht wurde es so bis zum Äußersten gehen. Wahrscheinlich hatte der fremde Reisende den Befehl dazu gegeben. Das war also Rache. Ohne selbst bis zum Ende gelitten zu haben, wurde er doch bis zum Ende gerächt. Ein breites, lautloses Lachen erschien nun auf seinem Gesicht und verschwand nicht mehr.

Der Offizier aber hatte sich der Maschine zugewendet. Wenn es schon früher deutlich gewesen war, daß er die Maschine gut verstand, so konnte es jetzt einen fast bestürzt machen, wie er mit ihr umging und wie sie gehorchte. Er hatte die Hand der Egge nur genahert, und sie hob und senkte sich mehrmals, bis sie die richtige Lage erreicht hatte um ihn zu empfangen; er faßte das Bett nur am Rande, und es fing schon zu zittern an; der Filzstumpf kam seinem Mund entgegen, man sah, wie der Offizier ihn eigentlich nicht haben wollte, aber das Zögern dauerte nur einen Augenblick, gleich fugte er sich und nahm ihn auf. Alles war bereit, nur die Riemen hingen noch an den Seiten hinunter, aber sie waren offenbar unnötig, der Offizier mußte nicht angeschnallt sein. Da bemerkte der Verurteilte die losen Riemen, seiner Meinung nach war die Exekution nicht vollkommen, wenn die Riemen nicht festgeschnallt waren, er winkte eifrig dem Soldaten, und sie liefen hin, den Offizier anzuschnallen. Dieser hatte schon den einen Fuß ausgestreckt, um in die Kurbel zu stoßen, die den Zeichner in Gang bringen sollte; da sah er, daß die zwei gekommen waren; er zog daher den Fuß zurück und ließ sich anschnallen. Nun konnte er allerdings die Kurbel nicht mehr erreichen; weder der Soldat noch der Verurteilte wurden sie auffinden, und der Reisende war entschlossen, sich nicht zu rühren. Es war nicht nötig; kaum waren die Riemen angebracht, fing auch schon die Maschine zu arbeiten an; das Bett zitterte, die Nadeln tanzten auf der Haut, die Egge schwebte auf und ab. Der Reisende hatte schon eine Weile hingestarrt, ehe er sich erinnerte, daß ein Rad im Zeichner hatte kreischen sollen; aber alles war still, nicht das geringste Surren war zu hören.

Durch diese stille Arbeit entschwand die Maschine formlich der Aufmerksamkeit. Der Reisende sah zu dem Soldaten und dem Verurteilten hinüber. Der Verurteilte war der lebhaftere, alles an der Maschine interessierte ihn, bald beugte er sich nieder, bald streckte er sich, immerfort hatte er den Zeigefinger ausgestreckt, um dem Soldaten etwas zu zeigen. Dem Reisenden war es peinlich. Er war entschlossen, hier bis zum Ende zu bleiben, aber den Anblick der zwei hatte er nicht lange ertragen. "Geht nach Hause", sagte er. Der Soldat wäre dazu vielleicht bereit gewesen, aber der Verurteilte empfand den Befehl geradezu als Strafe. Er bat flehentlich mit gefalteten Händen ihn hier zu lassen, und als der Reisende kopfschüttelnd nicht nachgeben wollte, kniete er sogar nieder. Der Reisende sah, daß Befehle hier nichts halfen, er wollte hinüber und die zwei vertreiben. Da horte er oben im Zeichner ein Geräusch. Er sah hinauf. Störte also das eine Zahnrad doch? Aber es war etwas anderes. Langsam hob sich der Deckel des Zeichners und klappte dann vollständig auf. Die Zacken eines Zahnrades zeigten und hoben sich, bald erschien das ganze Rad, es war, als presse irgendeine große Macht den Zeichner zusammen, so daß für dieses Rad kein Platz mehr übrig blieb, das Rad drehte sich bis zum Rand des Zeichners, fiel hinunter, kollerte aufrecht ein Stück im Sand und blieb dann liegen. Aber schon stieg oben ein anderes auf, ihm folgten viele, große, kleine und kaum zu unterscheidende, mit allen geschah dasselbe, immer glaubte man, nun müsse der Zeichner jedenfalls schon entleert sein, da erschien eine neue, besonders zahlreiche Gruppe, stieg auf, fiel hinunter, kollerte im Sand und legte sich. Über diesem Vorgang vergaß der Verurteilte ganz den Befehl des Reisenden, die Zahnräder entzuckten ihn völlig, er wollte immer eines fassen, trieb gleichzeitig den Soldaten an, ihm zu helfen, zog aber erschreckt die Hand zurück, denn es folgte gleich ein anderes Rad, das ihn, wenigstens im ersten Anrollen, erschreckte.

Der Reisende dagegen war sehr beunruhigt; die Maschine ging offenbar in Trümmer; ihr ruhiger Gang war eine Täuschung; er hatte das Gefühl, als müsse er sich jetzt des Offiziers annehmen, da dieser nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Aber während der Fall der Zahnräder seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte, hatte er versäumt, die übrige Maschine zu beaufsichtigen; als er jedoch jetzt, nachdem das letzte Zahnrad den Zeichner verlassen hatte, sich über die Egge beugte, hatte er eine neue, noch argere Überraschung. Die Egge schrieb nicht, sie stach nur, und das Bett walzte den Körper nicht, sondern hob ihn nur zitternd in die Nadeln hinein. Der Reisende wollte eingreifen, möglicherweise das Ganze zum Stehen bringen, das war ja keine Folter, wie sie der Offizier erreichen wollte, das war unmittelbarer Mord. Er streckte die Hände aus. Da hob sich

aber schon die Egge mit dem aufgespießten Körper zur Seite, wie sie es sonst erst in der zwölften Stunde tat. Das Blut floß in hundert Stömen, nicht mit Wasser vermischt, auch die Wasserrohren hatten diesmal versagt. Und nun versagte noch das letzte, der Körper löste sich von den langen Nadeln nicht, stömte sein Blut aus, hing aber über der Grube ohne zu fallen. Die Egge wollte schon in ihre alte Lage zurückkehren, aber als merke sie selbst, daß sie von ihrer Last noch nicht befreit sei, blieb sie doch über der Grube. "Helft doch!" schrie der Reisende zum Soldaten und zum Verurteilten hinüber und faßte selbst die Füße des Offiziers. Er wollte sich hier gegen die Füße drücken, die zwei sollten auf der anderen Seite den Kopf des Offiziers fassen, und so sollte er langsam von den Nadeln gehoben werden. Aber nun konnten sich die zwei nicht entschließen zu kommen; der Verurteilte drehte sich geradezu um; der Reisende mußte zu ihnen hinübergehen und sie mit Gewalt zu dem Kopf des Offiziers drängen. Hierbei sah er fast gegen Willen das Gesicht der Leiche. Es war, wie es im Leben gewesen war; kein Zeichen der versprochenen Erlösung war zu entdecken; was alle anderen in der Maschine gefunden hatten, der Offizier fand es nicht; die Lippen waren fest zusammengedrückt, die Augen waren offen, hatten den Ausdruck des Lebens, der Blick war ruhig und überzeugt, durch die Stirn ging die Spitze des großen eisernen Stachels.

Als der Reisende, mit dem Soldaten und dem Verurteilten hinter sich, zu den ersten Häusern der Kolonie kam, zeigte der Soldat auf eines und sagte: "Hier ist das Teehaus."

Im Erdgeschoß eines Hauses war ein tiefer, niedriger, hohlenartiger, an den Wänden und an der Decke verraucherter Raum. Gegen die Straße zu war er in seiner ganzen Breite offen. Trotzdem sich das Teehaus von den übrigen Häusern der Kolonie, die bis auf die Palastbauten der Kommandatur alle sehr verkommen waren, wenig unterschied, übte es auf den Reisenden doch den Eindruck einer historischen Erinnerung aus und er fühlte die Macht der früheren Zeiten. Er trat näher heran, ging, gefolgt von seinen Begleitern, zwischen den unbesetzten Tischen hindurch, die vor dem Teehaus auf der Straße standen, und atmete die kühle, dumpfige Luft ein, die aus dem Innern kam. "Der Alte ist hier begraben", sagte der Soldat, "ein Platz auf dem Friedhof ist ihm vom Geistlichen verweigert worden. Man war eine Zeitlang unentschlossen, wo man ihn begraben sollte, schließlich hat man ihn hier begraben. Davon hat Ihnen der Offizier gewiß nichts erzählt, denn dessen hat er sich natürlich am meisten geschämt. Er hat sogar einigemal in der Nacht versucht, den Alten auszugraben, er ist aber immer verjagt worden." "Wo ist das Grab?" fragte der Reisende, der dem Soldaten nicht glauben konnte. Gleich liefen beide, der Soldat wie der Verurteilte, vor ihm her und zeigten mit ausgestreckten Händen dorthin, wo sich das Grab befinden sollte. Sie führten den Reisenden bis zur Rückwand, wo an einigen Tischen Gäste saßen. Es waren wahrscheinlich Hafenarbeiter, starke Männer mit kurzen, glänzend schwarzen Vollbärten. Alle waren ohne Rock, ihre Hemden waren zerrissen, es war armes, gedemütigtes Volk. Als sich der Reisende näherte, erhoben sich einige, drückten sich an die Wand und sahen ihm entgegen. "Es ist ein Fremder", flüsterte es um den Reisenden herum, "er will das Grab ansehen." Sie schoben einen der Tische beiseite, unter dem sich wirklich ein Grabstein befand. Es war ein einfacher Stein, niedrig genug, um unter einem Tisch verborgen werden zu können. Er trug eine Aufschrift mit sehr kleinen Buchstaben, der Reisende mußte, um sie zu lesen, niederknien. Sie lautete: "Hier ruht der alte Kommandant. Seine Anhänger, die jetzt keinen Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, daß der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet!" Als der Reisende das gelesen hatte und sich erhob, sah er rings um sich die Männer stehen und lachen, als hätten sie mit ihm die Aufschrift gelesen, sie lacherlich gefunden und forderten ihn auf, sich ihrer Meinung anzuschließen. Der Reisende tat, als merke er das nicht, verteilte einige Münzen unter sie, wartete noch, bis der Tisch über das Grab geschoben war, verließ das Teehaus und ging zum Hafen.

Der Soldat und der Verurteilte hatten im Teehaus Bekannte gefunden, die sie zurückhielten. Sie mußten sich aber bald von ihnen losgerissen haben, denn der Reisende befand sich erst in der Mitte der langen Treppe, die zu den Booten führte, als sie ihm schon nachliefen. Sie wollten wahrscheinlich den Reisenden im letzten Augenblick zwingen, sie mitzunehmen. Während der Reisende unten mit einem Schiffer wegen der Überfahrt zum Dampfer unterhandelte, rasten die zwei die Treppe hinab, schweigend, denn zu schreien wagten sie nicht. Aber als sie unten ankamen, war der Reisende schon im Boot, und der Schiffer löste es gerade vom Ufer. Sie hatten noch ins Boot springen können, aber der Reisende hob ein schweres geknotetes Tau vom Boden, drohte ihnen damit und hielt sie dadurch von dem Sprunge ab.